

рз
к 93

**ВЛАДИМИР
КУРОПАТОВ**

Зеленый луч





ВЛАДИМИР
КУРОПАТОВ

Зеленый луч

РАССКАЗЫ



Кемерово
Кемеровское
книжное
издательство
1979

12 0 ИЮН 1984

Куропатов В. Ф.

К-93 Зеленый луч. Рассказы. Оформление А. С. Ротовского. Кемеровское книжное издательство, 1979.

160 с. 30 000 экз. 60 коп.

Журналистская судьба сталкивала автора этой книги со множеством различных людей, заставляя размышлять о природе доброты и нравственности. «Доброе начало заложено в человеке самой природой. Но это начало надо пробудить, заставить проявляться. Чья эта забота? Всех. Но прежде всего — родителей и учителей». О Воспитателях и Учителях, о добрых и ответственных людях этот сборник. Первая книга рассказов В. Куропатова «Пожили-поработали» вышла в Кемерове в 1976 г.

К $\frac{70302-7}{M 145(03)-79} 21-79$

Мое глубокое убеждение: человек рожден для добра. То есть он должен сам творить добро и пользоваться добром других. Согласитесь, если бы было иначе, жизнь стала бы нелепой, грустной и даже бессмысленной. Но добро бывает разное. Не по сути своей, а по форме проявления. Для добра, в отличие от зла, лишённого права на существование и потому существующего скрытно, живущего в темных закоулках, для добра открыто каждое сердце, оно свободно может входить в человека и тем самым обогащать, облагораживать его и так же свободно оно может исходить от человека и нести радость и счастье другим людям. Обычно мы замечаем и ощущаем в первую очередь добро в чистом, что ли, виде, как самородок драгоценного металла, и не всегда обращаем внимание, а то и вовсе проходим мимо того доброго, что сосуществует в человеке с тем, что достойно неприятия, резкого осуждения. В некоторых рассказах первого моего сборника «Пожили-поработали» и новой книги рассказов, которую я предлагаю сейчас читателю, я рассказываю о героях — носителях добра, будем так говорить, «в чистом виде». Но, не знаю, почему — я пока что не решил для себя этот вопрос — меня очень настойчиво привлекают и, наверное, будут всю жизнь привлекать и люди внешне неброские, каким-то образом «ушибленные» судьбой и даже такие, которые в нашей интересной, разнообразной жизни выглядят «пустой породой». Бывает, подымеешь бесформенный угловатый камешек, повертишь его в руках, порассматриваешь, и вдруг тебя охватывает радость открывателя: в породной серости блеснуло крошечное вкрапление благородного металла! Скорее в карман этот камешек! Подымаешь другой, присматриваешь-

ся и тоже — вовсе не пустая порода — руда. Также в карман и скорее — к людям: показать свои находки, поделиться радостью...

Доброе начало заложено в человеке самой природой. Но это начало надо пробудить, заставить проявиться. Чья это забота? Всех. Но прежде всего — родителей и учителей. О людях, которые будят доброе в человеке, я в меру своих способностей поделился мыслями в рассказах «Белая рубашка», «Ошибка», «Зеленый луч». Кстати, мне говорили, будто есть поверье, что зеленый луч — это очень редкое явление в природе — есть предвестник Добра. Вот почему я сравниваю главного героя повести, учителя Герасима Гавриловича Корсакова, с этим явлением...

Я родился на юге Кемеровской области, в большом селе Кузедееве. Там прошли мое детство и юность. Там началось мое познание мира и людей, многие из которых стали прототипами героев произведений, вошедших в мою первую книжку и в этот сборник. Порой я не изменял даже имен своих героев. Я многим обязан землякам. В моем сердце постоянно живет память о них и о моей малой родине — Кузедееве, крошечной частице моей великой Родины — России. Если во мне живет что-то доброе, то пробуждено оно еще в детстве людьми Кузедеева. За добро надо быть признательным. И потому я со всей искренностью посвящаю эту скромную книжку своим землякам.

Автор.

Приехав в родное село, я на другой же день утром отправился в книжный магазин. Книголюбы знают: заглянув в сельский книжный, почти всегда найдешь вещь, которую в городе не купишь. Бывает, такое достанешь из дальнего угла, что вначале даже собственным глазам не поверишь. А когда убедишься, что они не обманывают, руки от радости и волнения затрясутся, как у рыболова, почувствовавшего по натяжению лесы, что на крючке рыба-мечта, которая, не дай бог, вдруг сорвется и, блеснув чешуей, уйдет в водную глубь. Пальцы крепко сжимают книгу-мечту, а глаза уже помимо воли стреляют по сторонам — не увидел бы кто и не стал бы, чего доброго, отнимать. А в магазине полторы, как говорится, души. Или совсем никого. Кроме продавщицы, конечно, которой нет до тебя никакого дела. Ты — сам по себе, она — сама по себе.

Но это в других сельских магазинах. В нашем



работает Татьяна Михайловна. Сколько помню себя, столько она и работает в книжном. Сейчас Татьяна Михайловна уже совсем старенькая. Ссутулилась и будто ростом поменьше стала. На лице год от года морщин все больше, и делаются они все глубже. А вот глаза остались прежними — не померкли, все такие же чистые. В них доброта и ум. В них сверкают искорки лукавства и веселья.

У Татьяны Михайловны твердое правило: без книги не выпускать ни одного человека. Поэтому, когда мы были мальчишками, если в кармане не позвякивало, заходить в когиз (так тогда назывался книжный) не решались. Если же кое-какие деньги были, то прежде, чем взяться за ручку двери, приводили себя в порядок: застегивали пуговицы, приглаживали волосы и настраивались на серьезный лад, лицу придавали такое выражение, чтобы выглядеть достойнее, чем были на самом деле. Переступив порог, снимали шапки и говорили:

— Здравствуйте...

— А-а-а! Пожа-а-луйте, пожа-а-луйте, — сказала Татьяна Михайловна приветливо и так обрадованно, словно бы все время после моего последнего посещения магазина она только и делала, что ждала и ждала меня и вот, наконец, дождалась. — Проходите, проходите смелее... Значит, в родные, как говорится, пенаты?.. Очень хорошо. Художественная литература у нас теперь вот здесь. И надолго вы?.. Только-то?! Жаль! На следующей неделе будет кое-что интересное. Но мы не бедны и сегодня. Скажите, что вы знаете о пробке?.. О самой обычной, бытлочной?

— А что о ней можно такого знать?

— Ага! Вот вы и попались! — Татьяна Михайловна протянула мне книжку, которую держала в руках. — Михаил Лоскутов. «Немного в сторону». Здесь вы про-

читаете о пробке уйму интересного. И не только о ней. Очень увлекательно рассказано о скрипичном мастере Добрянском, об укротителе зверей Гладильщикове и еще о многом. Словом, эту книгу вы берете. Жалеть не будете, ручаюсь... А вот вам и «Письма из русского музея» Владимира Солоухина. Так для вас и берегу. Смеесть? А ведь вижу — рады: Солоухин — ваш любимый писатель.

— Как вы угадали?!

— Гадают гадалки, а я — знаю. Должна же я знать интересы и вкусы своих покупателей. Знаю, что вы сейчас спросите: «Нет ли новой книжки стихов Леонида Мартынова?» Как не быть? Есть. Вот вам его «Людские имена».

— Спасибо большое. А еще одного экземпляричка не найдется? У меня есть товарищ, тоже большой почитатель Леонида Мартынова.

— Последний, больше нет! — Татьяна Михайловна развела руками. — Как жаль! Всего четыре экземпляра было. Один заведующая аптекой взяла, другой — юноша-девятиклассник, третий... Подождите, кто же третий взял?.. Забыла... Старею, совсем старею, — с грустным смешком часто закивала головой. — Заходите. Приезжайте почаще и заходите... А вот и вспомнила! Книгоноши, мои юные помощники, третий экземпляр Мартынова продали. Вот видите, помню!.. Так приезжайте. Я буду ждать...

— Хорошо, Татьяна Михайловна. Спасибо вам. До свидания...

Со стопкой книг под мышкой я шел назад бором. Стрелял короткими взглядами вперед, чтобы не споткнуться о выгорбившиеся корни сосен, и листал сборник Мартынова. Небольшие стихотворения прочитывал, из других глаза вырывали только отдельные строки.

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидал зеленый луч.
Ищи и ты. Еще не поздно!»

Это стихотворение так и озаглавлено — «Зеленый луч». Другое называлось «Сверлящий взор». Его первые строки:

«Я стар,
Я струны старых лир
Щиплю негнуцимися пальцами...»

Через несколько строк:

«Я стар,
Но взор мой не угас!..»

Конец стихотворения без названия:

«Еще я и нынче умею весну
За крылья хватать.
И ночью сегодня, лишь только
васну,
Я буду летать».

Перелистнув страницу, я в очередной раз бросил взгляд вперед. По тропке навстречу мне шла женщина. Я тотчас узнал ее. Это, конечно, была она, Зоя Сергеевна, наша учительница русского языка и литературы. Как и много лет назад при встречах с учителями, мною вдруг овладели робость и стеснение. Я, придержав шаг, почтительно поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Зоя Сергеевна.

Должно быть, занятая какими-то своими мыслями, она не ожидала приветствия, вскинула на меня округленные удивлением глаза. Но через какое-то мгновение удивление потухло.

— Здравствуйте. Теперь вас не вдруг и узнаешь.

«Да и вы не та», — уже готово было сорваться с моего языка. Но я вовремя одернул себя. Мои слова не бы-

ли бы комплиментом учительнице, некогда впорхнувшей в наш шестой «Б» молоденькой девушкой. В черном са-рафане и в белой, с жабо, кофточке, остроносенькая, она напоминала тогда ласточку. Сейчас это сравнение не вя-залось с ее внешностью. Годы, годы, как вы нещадны, жестокосердны! Передо мною стояла раздобревшая и увядающая женщина, мать троих — я это знал — уже не маленьких детей.

Я отвечал на вопросы Зои Сергеевны: где вы? что вы? как живется-можется? Сам спрашивал о том же, а взгляд мой останавливался то на тонких ниточках мор-щинок, убегающих от глаз к вискам, то на синем жакете с загнутыми, как лемеха плуга, кончиками лацканов, то на руках, огрубевших от домашней работы, то на хозяй-ственной сумке, из которой выглядывал уголок мешочка для сахара или крупы.

— ...Работа, дети, хлопоты по хозяйству — так вот и живем.

— Как ученики? Наверное, лучше, чем мы были, все сплошь вундеркинды?

— Что вы, что вы! — махнула рукой Зоя Сергеев-на. — Где там лучше! Вы же, наверное, знаете, Мария Ивановна вышла на пенсию, а новый директор такой, что им не припугнешь. Все убеждает, нянькается, какие-то подходы к хулиганам да лоботрясам ищет. Вы долж-ны его помнить — Иванов. Василий Петрович. Ученик Герасима Гавриловича Корсакова. И вот два года уже в школе сплошная корсаковщина. Трудно, совсем трудно стало работать.

В нашем разговоре наступила пауза. Оба мы искали, что бы еще сказать, о чем бы друг друга спросить. Одна-ко в таких неловких ситуациях чем настойчивее ищешь, тем меньше находишь, и неловкость усугубляется.

— В книжном были? — спросила Зоя Сергеевна без особого интереса, спросила только ради того, чтобы спа-сти нас обоих от гнетущего молчания.

Но все равно я обрадовался. Моя бывшая учительница наконец заметила то, на что, я думал, она обратит внимание в первую очередь. Ведь какому сеятелю не любопытно увидеть всходы?

— Да. Вот кое-что купил,— с гордостью указал на книги под мышкой.

Зоя Сергеевна взяла из моих рук книжку Мартынова.

— «Людские имена». Что тут? — открыла сборник на середине и тут же резко, будто со страниц пахнуло чем-то неприятным, захлопнула книгу.— Ах, это стихи! — и поспешила вернуть мне сборник.— Не люблю стихов. Вот что-нибудь приключенческое... Да и то некогда. Уроки отведешь — к новым готовишься,— грудь ее колыхнулась от вздоха.— А ведь это не какая-нибудь там ботаника — русский и литература. Сочинения, изложения. Да еще почти на двух ставках работаю. А семья, хозяйство сколько времени отбирают. То одно надо сделать, то другое. Сейчас вот за пшеном для цыплят отправилась. Пицат — кормить надо,— засмеялась легонько.— Вот когда уйду на пенсию, как Мария Ивановна, тогда и читать начну. Все подряд. Ну, всего вам хорошего.

— До свидания...

И мы пошли каждый в свою сторону...

...В шестом классе первого урока литературы у нас не было. Потому что учительницу, которую направили в нашу школу, как мы поняли из объяснения директора школы Марии Ивановны, где-то кто-то перехватил. С завтрашнего дня, сказала Мария Ивановна, уроки в нашем классе станет вести Герасим Гаврилович. Временно, пока не пришлют новую учительницу.

— А сейчас вы можете выйти во двор и погулять. Только тихо! Ти-хо! Ясно?

— Все ясно,— сказал Петька Резуненко и продекла-

мировал на весь коридор: — Эта песня хороша, начинай сначала!

Этим самым Петька выразил свое ироническое отношение к тому, как часто у нас менялись «русаки» и «русачки». Выйдя на крыльцо, Петька уселся на ступеньке и, чтобы со всей точностью определить степень нашего невезения, принялся считать, сколько их, «русаков» и «русачек», сменилось в прошлом году. Загнул все пальцы левой руки — не хватило, стал загибать пальцы правой руки, но сбился со счета, плюнул, выругался.

— Весной будем считать, сразу за два года... — посмотрел на меня искоса и ехидно. — Поди радуешься?

— С чего бы?

— Так Лысый же завтра придет.

Каждый учитель в нашей, как и в любой другой школе, носил какое-нибудь прозвище. Как невозможен, скажем, хлеб без корки, так немыслим был у нас учитель без прозвища. Лысым мы называли Герасима Гавриловича Корсакова.

— Ну и что? — спросил я совсем равнодушно.

— Так он же твой дя-я-дя.

Герасим Гаврилович в самом деле доводился мне дядей. Однако же если учесть, что Александра Михеевна была мне не родной матерью, а мачехой, а Герасим Гаврилович был мужем тети Ани, сестры моей мачехи, то, выходит, мне он доводился таким же дядей, как и всем ученикам нашего класса, в том числе и Петьке, моему двоюродному брату по родной матери.

Аккуратное сложение и подтянутость Герасима Гавриловича несколько скрадывали его возраст. Но коротко подстриженные, меловой белизны волосы и отчетливо выделявшийся в окружении их розовый островок плешинки в такой же мере старили его. Маленький плюс уравновешивался маленьким минусом, и на вид Герасиму Гавриловичу было столько, сколько было на самом

деле — лет около пятидесяти пяти. Поводом для прозвища Лысый послужила, разумеется, плешинка.

Замечу, что прозвища у нас давались учителям не ради прозвища, то есть это не было самоцелью, а для того, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию, иначе оно не имело бы смысла и не обладало бы никакой жизнеспособностью. Все учителя реагировали на свои прозвища. Каждый по-разному. Случались даже истории. Порой очень забавные и интересные.

Но, пожалуй, то, как относился Герасим Гаврилович к своему прозвищу, было интереснее. Он был к нему до того равнодушен, словно бы плешинка розовела не на его голове. Ученики нервничали, говорили, что до него «не доходит», и испытывали всяческие средства, чтобы «довести» до Герасима Гавриловича, что он — Лысый. Средства были дерзкие, отчаянные, порой даже крайние. Например, мы были свидетелями того, как старшеклассники, притом, замечу, те, у которых Герасим Гаврилович никогда не преподавал, «кодлой» сочиняли о Лысом разные стишки и отдавали их младшему сыну Герасима Гавриловича, первокласснику Генке, чтобы он вложил эти стишки в тетради, которые отец приносил домой для проверки. Генке наказывали популярно и строго:

— Когда твой пахан найдет в тетрадке стишки и начнет их читать, — зырь в оба, глаз с него не своди, запоминай, какой он будет. Если что скажет — тоже запомни. Завтра нам все расскажешь. Понял?

— Ага, ага. Понял, — часто кивал головой Генка, готовый с честью выполнить возложенное на него поручение.

На другой день Генку встречали на крыльце, не совсем вежливо брали за шиворот и торжественно тащили в раздевалку. Зажимали в дальнем углу, нетерпеливо начинали допрос:

— Ну, как?

Простодушно пожав плечами, Генка давал ответ:

— А никак. Я положил в тетрадку — он прочитал. Сначала упражнения прочитал, отметки поставил, потом прочитал то, что вы дали.

— Ну, ну...

— Вот и все.

— Как все? А куда дел?

— Что?

— Что! Стишки, бал-да!

— Кто?

— Кто! Кто! Дурачок! Пахан твой.

— Там же, в тетрадке, и остались.

— Во-о-от Лысый! — допрашивающие в недоумении переглядывались. — Ну, а когда читал, хоть злой был?

— Не-е-е, ни капли.

— Может, хоть хмыкнул или что?..

— Не-е-е. Только ошибки исправил и все.

— Ну Лысый! Ну Лысый! Не клюет! — сокрушались старшеклассники. И видя в Генке плоть и кровь Лысого, говорили ему напористо и ядовито: — А все равно твой пахан — Лысый! Вот так, понял?! Шмаляй!

— По-о-онял! — охотно соглашался Генка и, радуясь, что ответ прошел без особых осложнений, резвым козликком вприпрыжку бежал в свой класс.

Листки со стихами, найденные учениками в своих тетрадках, шли гулять по всей школе. Стишки выучивали и декламировали, не таясь, все, кто хотел. В общем, это были самые безобидные творения. Правда, порой бессмысленные и почти всегда безграмотные, так как — это обстоятельство надо учитывать — писались наспех, а главное, не для проверки. Ошибки грамматического рода Герасим Гаврилович исправлял, бессмыслицы жирно, как бы укоряюще, подчеркивал красными чернилами, а на полях ставил головастые вопросы. Иногда пытался дотянуть стихи до более или менее приемлемого уровня: зачеркивал отдельные слова и вписывал другие, считая, что так будет лучше.

Помню в четверостишии:

«Лысый спит и видит сон:
Будто в класс заходит он,
А за партами сидят
Двадцать с лысиной ребят» —

Герасим Гаврилович в последней строке выражение «с лысиной» зачеркнул и выше написал «лысенских». Исправленный вариант и был принят всеми. Кроме авторов, которые из духа противоречия считали свой вариант более удачным...

Теперь мне уже никогда не вспомнить иных учителей, что входили в наш класс. Других же сохраняю в памяти и сердце до конца. И это им моя дань за то, что учили меня хорошему, доброму. Учили по совести и долгу своему. Они не забудутся. И все-таки их светлый образ тускнеет перед образом Герасима Гавриловича Корсакова, неповторимого, ни в чем не похожего на других. Ему в моей памяти особое место.

Невысокий, кругленький, в защитного цвета диагоналевой гимнастерке с отложным воротником, в диагоналевых же, но синих галифе, в сверкающих сапогах, он вошел в наш класс с улыбкой: наверное, в коридоре с кем-то говорил о чем-то веселом. И он не торопился погасить улыбку. С нею прошел к столу, положил журнал, с нею оглядел нас всех внимательно и сказал:

— Ну, что, братцы-кролики, здравствуйте? Как зовут меня, знаете? Зна-а-ете. Ну и я вас, шалунов, знаю. Как же. Ну, а за каникулы-то как, — плутовски прищурил один глаз, — подпортились, поди, а? Или нет, ничего? Возмужали, вижу. Прямо все такие красавицы да добры молодцы, о которых в старинных песнях поют да сказки сказывают, — и как бы кстати спросил, засветившись еще большим лукавством: — А вот кто их,

сказки, такие интересные и забавные, порою страшные, складывает? Вы не задумывались?

«Действительно, кто?» — задумались мы, совсем не подозревая, что своим вопросом Герасим Гаврилович начал вступительный разговор о жанрах устного народного творчества — первой теме по литературе. И до того увлек нас этим разговором, что мы не смогли даже пофокусничать. Была у нас такая традиция. Состояла она в том, что перед всяким новым учителем мы с той осторожностью, с какой путник темной ночью пробирается по незнакомой тропе, выкидывали разные номера: спрашивали что-нибудь нарочито-глупое, корчили рожицы, когда учитель проходил между партами, стреляли из-за его спины в доску из резинки. Все это делалось, чтобы разведать слабые и тугие струнки нового учителя, на каких можно играть, а на каких опасно. На первом уроке Герасима Гавриловича было просто не до этого. Только Петька Резуненко исхитрился и «отмочил» один номер. Да еще какой рискованный и необычный! Потом Петька признавался, что сразу же после своей выходки представил возможный исход ее, и ему сделалось так не по себе, что у него даже шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, самый кончик носа.

Когда Герасим Гаврилович предложил вспомнить пословицы и поговорки, все стали дружно поднимать руки:

— Ученье — свет, неученье — тьма.

— Любишь кататься — люби и саночки возить.

— Сделал дело — гуляй смело...

Герасим Гаврилович одобрительно кивал головой:

— Правильно... Хорошо... Верно... Так, скажи теперь ты, — обратился он, наконец, к Петьке, нетерпеливо и энергично вытянувшему вперед руку.

Петька встал гвоздиком и четко рубанул:

— Не всякий лысый — философ! — на слове «лысый» Петька сделал такой нажим, что его невозможно было не заметить.

То ли мне показалось, то ли в самом деле по классу прокатилось волной:

— Ы-ы-а-а-а-а-а-х-х...

Все замерли и выжидательно смотрели на Герасима Гавриловича. А он поднял брови, приложил ладонь к уху и, наклонив голову в сторону Петьки, переспросил, вдруг сделавшись серьезней:

— Как, как? Повтори-ка?

— Не всякий лысый — философ! — не моргнув глазом и так же четко, как в первый раз, произнес Петька и сделал на слове «лысый» еще больший нажим.

Мы совсем оцепенели.

Герасим Гаврилович вскинул брови на такую высоту, что на лбу его собрались все морщины и поползли назад, к розовой плешинке.

— О! — воскликнул Герасим Гаврилович, поднял вверх указательный палец и пристальным взглядом медленно обвел класс, совершенно не понимающий, как расценить восклицание учителя. — О! Вы слышите! Не всякий лысый — философ! Это же великолепно сказано! Нет, вы вдумайтесь: мало иметь лысину, чтобы прослыть философом. А?.. Мудро! Однако, Петро, — Герасим Гаврилович обратился к Петьке, — есть другая и тоже справедливая пословица: «Иной лысый стоит кудрявчика» (как нам показалось, Герасим Гаврилович тоже сделал нажим на слове «лысый»). И обе, твоя и моя, утверждают то, что утверждает третья: «Ум не в волосах, а в голове». Верно? — Герасим Гаврилович тоненько и весело засмеялся. Приободрившийся класс дружно поддержал учителя.

Наверное, в этот самый момент Петька и представил себе другой, не очень приятный исход выкинутого им номера, и у него, как он говорил, шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, кончик носа. Но поскольку всё кончилось благополучно, мало того, дерзкая вылазка даже подняла Петьку в глазах учителя и уче-

ников, это его взбодрило, и он с достойным видом воителя, по заслугам воздающего своему противнику, сказал:

— Остер топор, да и сук зубаст.

Конечно же, под острым топором Петька подразумевал себя, а под зубастым суком — Герасима Гавриловича. Хитрый Петька рассчитывал быть поощренным еще раз и не ошибся в своем расчете.

— Да я, брат, смотрю, с тобой разговориться, что меду напитокся. Садись, Петро, великолепно! — откровенно восхищенный Петькой, Герасим Гаврилович обратился ко всему классу: — Видите, что есть такие русские пословицы и поговорки? Они так мудры, метки, остры, что, используя только их, можно устраивать настоящие словесные поединки. Как это сумели мы с Петром.

Петька, приняв монументальную позу, достойно и гордо кашлянул.

А когда урок закончился и все высыпали во двор, Петька заключил категорически:

— Не-е-т. Наш Лысый — философ! — теперь он сделал нажим на слове «наш». Потом добавил совсем разочарованно: — Только чует мое сердце, пацаны, — «в угол» у него фиг сходишь. Вот посмóтрите...

Петька оказался прав.

Хождение «в угол» было одним из самых замечательнейших изобретений Петьки Резуненко, и я считаю необходимым рассказать о нем поподробнее. Как и многие великие открытия, оно родилось в хитроумной Петькиной голове самым неожиданным образом, в самый критический, чуть ли не роковой момент. Он не раз признавался нам, что его осеняет именно тогда, когда уже все кажется безнадежным и пропащим.

Так вот однажды, еще в четвертом классе, когда нас учила Мария Семеновна Перепелицына, Петька не вы-



учил стихотворение и очень переживал. Конечно, только из-за того, что не выучил, он никогда не стал бы переживать. Но в тот день его должны были спросить. Знал он это точно. Потому что умел вычислять, по какому предмету и в какой день его спросят. Вычислял, хорошенько готовился, получал хорошие оценки и потом по долгу не заглядывал в учебник. Как получилось, что тому была за причина, сказать не могу, но стихотворение в тот раз он не выучил и лихорадочно думал, как быть? Что делать? Не единицу же получать, в самом деле. Сказать, что болела голова? Мария Семеновна не поверит, потому что все, в том числе и Петька, очень уж часто сваливают свои грехи на якобы больную, а на самом деле вполне здоровую голову. Тогда, может, живот болел? Нет, тоже не поверит. Какая разница, что живот, что голова. Петька лихорадочно искал какую-нибудь вескую уважительную причину, но она не находилась. А между тем время шло. Его становилось все меньше и меньше. Наступал роковой момент.

— Рассказывать стихотворение пойдет... — Мария Семеновна склонила голову над журналом, ища фамилию ученика, который пойдет рассказывать стихотворение.

Петька был убежден, что будет названа сейчас его фамилия. И тут-то его осенило! Он оторвал от последней страницы тетради по арифметике небольшой клочок, запихал его в рот, сделал тугой шарик и в тот момент, когда Мария Семеновна подняла голову и посмотрела на него, чтобы назвать его фамилию, Петька пульнул шарик в Юрку Шаброва.

— ...пойдет Резуненко. Резуненко!!! Это еще что такое! — Мария Семеновна даже притопнула от возмущения и негодования каблучком. — Сейчас же стань в угол!

Именно этого Петьке и нужно было! Он поспешно, боясь, как бы учительница не переменяла своего решения, но и не так уж скоро, чтобы у Марии Семеновны не

возникли какие-нибудь подозрения, поднялся и прошагал в угол возле двери. Теперь он знал — беда миновала его. Потому что ученик, стоящий в углу, не только лишился всех прав, но и был освобожден от обязанностей, в том числе и от обязанности отвечать на заданные вопросы. От него требовалось только одно — стоять и не позволять себе новых безобразий. Пока шел опрос, Петька смиренно стоял в своем углу. А когда Мария Семеновна поднялась, чтобы начать объяснение нового материала, он посмотрел в ее глаза так умиленно и трогательно, что сердце Марии Семеновны растаяло. Петька получил прощение и сел на свое место.

Этот удавшийся прием Петька стал использовать во всех крайних случаях, которые, как он потом признавался, почему-то стали учащаться. Накопив достаточный опыт хождения «в угол», он с присущей ему щедростью поделился им со всеми желающими.

— Трудного тут ничего нет. Главное — отмочить такое, чтобы только — в угол, — инструктировал Петька. — Переборщишь — пропал, недоборщишь — тоже пропал. Нужно так, чтобы только в угол.

Петька знал, что говорил. Недоборщить — значит быть поставленным на ноги. Ты лишаешься права сидеть, но за тобой остается обязанность отвечать на вопросы учителя. Переборщить — значит быть выпровоженным из класса и попасться на глаза Марии Ивановне, директору школы, и тогда все может кончиться совсем скверно, даже вызовом родителей в школу. Прав Петька. Нужно «отмачивать» такое, чтобы только — в угол. Работа тонкая. Но скоро мы так наловчились ходить «в угол», что успеваемость, к удовольствию учителей, заметно повысилась, но, к их недоумению, в той же степени понизилась дисциплина.

Петькины слова насчет того, что у Лысого «в угол» не сходишь, оказались пророческими. Герасим Гаврилович превосходнейшим образом, точно так же, как свое

прозвище — Лысый, умел не замечать все наши «номера» и «фокусы». Ну, а коль так, то кому же захочется что-то вытворять? Да и, по правде говоря, вытворять было некогда. Уроки Герасима Гавриловича я бы сравнил с увлекательной книгой с интересными картинками. До «фокусов» ли, когда ты взахлеб читаешь страницу за страницей и перед тобой постоянно стоит вопрос: а что дальше, а что потом? Порассматриваешь разноцветные картинки, понаслаждаешься ярким изображением того, о чем пишется, и опять читаешь, что дальше.

Очень легко удавалось Герасиму Гавриловичу привлекать к себе внимание класса. На лице его постоянно блуждала легонькая, ласковая и немножко ироническая улыбочка. Она то вспыхивала, то чуть-чуть угасала, но никогда не исчезала совсем. За ней скрывалось все: и мысли, и намерения его, которые очень хотелось угадать, но угадать заранее было никак невозможно. Оставалось одно — следить внимательно за каждым словом, жестом Герасима Гавриловича и узнавать все в свое время. Все мы были как бы на невидимых поводках у него, и он, куда хотел, туда и вел нас.

Ответы учеников Герасим Гаврилович выслушивал обычно стоя, прислонившись плечом к косяку двери, приложив ладонь к щеке и устремив взгляд в пол. К примеру, Танька Плотникова рассказывает о разорении Рязани Батыем. Бойко рассказывает. Герасим Гаврилович внимательно слушает. На лице — улыбочка. Раз слушает, не перебивает, думает Танька, значит, правильно отвечаю. И продолжает еще бойчее, норовя припомнить, как написано в книге. Рассказала. Довольная, раскрасневшаяся от старания, вопросительно смотрит на учителя. Гадает: «четыре» или «пять»?

«Четыре» или «пять»? — гадаем мы. — Конечно, «пять». Вон как шпарила. Почти назубок. Плотничиха же аккуратистка, примерная ученица.

А Герасим Гаврилович, не меняя позы, стоит и мол-

чит, о чем-то думает. Танька нетерпеливо ждет. Весь класс ждет. Наконец, Герасим Гаврилович отнимает от щеки ладонь, легонько отталкивается от косяка, улыбается, вскидывает вверх указательный палец:

— О! — оборачивается он к Таньке. — О! — подходит к ней. — Как бишь тебя, Таня?

— Таня.

— Та-ня,— произносит Герасим Гаврилович задумчиво и нежно, склонив голову на бок. Обращается к классу: — Та-а-ня. Нет, вы слышите, как это звучит: Та-а-аня... Слышите?.. Надо уметь не только слушать, но и слышать. Что суть вещи разные. Не только смотреть, но и видеть. Кинорежиссер Довженко, если мне память не изменяет, сказал: «Двое смотрят вниз. Один видит просто лужу, а другой — отраженные в ней звезды». А вот как однажды сказал мой ученик: «Пушкин пишет стихи так, будто скользит коньками по зеркалу льда» Прежде чем сказать такое, он читал Пушкина. А раз читал — значит, что-то видел, слышал, представлял, может, ощущал. «...Будто скользит коньками по зеркалу льда». В чем-то все-таки прав мой ученик. А?.. Та-аня... Какой букет звуков!.. — немного помедлив, продолжает: — Когда я в Могилеве служил мальчиком в лавке, хозяин завел маленького попугайчика. Забавная такая птичка. Что бы хозяин ни сказал, бывало, почти все повторяет. Года, однако, три он у него жил и все повторял. А своего ни одного слова не придумал. И не заметил я, чтобы у него руки вместо крыльев выросли. Ничем на человека не стал похож, так птичкой для забавы и остался, — поворачивается к Таньке:

— В хрестоматии повесть читала? — и, упреждая ее ответ, поднимает руку: — Не говори: знаю, читала. И не единожды. Значит, за всем, что происходило давным-давно в Рязани и вокруг нее, ты наблюдала как бы со стороны. Вот и рассказала бы нам, как свидетель тех страшных событий, что ты видела, слышала, пережива-

ла. Вот это нам было бы интересно послушать. А пересказывать зачем? Все читали, а кто не прочитал — пусть прочитает сам... Я знаю, ты девочка хорошая, старательная, но — «нуль»! Цена таким ответам — «нуль».

У Герасима Гавриловича была своя система оценок — семибалльная, представлявшая собой как бы наращенную с обеих сторон общепринятую пятибалльную. «Единице» в его системе предшествовал «нуль», а за «пятеркой» следовала еще «шестерка». Однако эта его система носила всего лишь символический характер. Когда ответ ученика Герасиму Гавриловичу не нравился, он говорил:

— «Нуль», — но тут же добавлял: — Хоть и с сожалением, но в журнал заносим «один».

И ставил ровненькую, как спичка, палочку. По-нашему — «кол». Иногда Герасим Гаврилович объявлял «нуль», но в журнале ничего не ставил, почему-то не находил нужным. При этом он просил ученика:

— Запомни: цена таким ответам — «нуль»...

В случае же, если ответ Герасиму Гавриловичу очень нравился, он в восхищении выбрасывал вверх указательный палец и восклицал:

— О! О!.. Превосходно! Ш-ш-шесть!» — решительно брал ручку, добавляя: — Но, к сожалению, «пять» пишем, один запоминаем. Обязательно! Да такое и не захочешь — запомнишь! Оригинально!..

— А что значит слово «оригинально»? — спросил однажды Петька.

— Оригинально? Это значит сказать или что-то сделать по-своему, как еще никому не удавалось. К примеру, ты, Петро, иногда бываешь оригинальным.

Последними словами Герасима Гавриловича Петька был весьма польщен. И решил еще прочнее и надежнее укрепить в учителе, а заодно и в учениках мнение, что он, Петька, и в самом деле не лыком шит, а хорошо наощенной драгвой и может быть оригинальным всегда.

Не откладывая выполнения задуманного в долгий ящик, Петька на следующем же уроке поднял руку выше всех и по собственному желанию пошел рассказывать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Начал, как и подобало ему, бойко, четко, выразительно:

«Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской
бронне
Князь по полю едет на верном
коне».

Отчеканив это шестистишие, Петька с подчеркнутой многозначительностью в голосе сказал:

— И так далее.

Герасим Гаврилович, стоявший в своей обычной позе возле двери и внимательно слушавший Петьку, поднял на него ничего не понимающий взор.

— «И так далее»? Что это?

— Ну бывает же, когда хотят сэкономить бумагу, то пишут: «и т. п.», «и т. д.», «и пр.», «и др.», а когда хотят сэкономить время, то говорят: «и так далее». Вот я и экономлю. Зачем все рассказывать, когда и так каждому ясно, что Олега ужалила змея и он умер, а вся его дружина с горя перепилась на холме возле Днепра. Да и сами вы говорили, — в этом месте Петька немного снизил голос, — что от пересказываний пользы никакой.

Герасим Гаврилович блуждающим взором, словно бы только что очнулся ото сна и не мог понять, где он, обвел класс и лишь потом поднял палец.

— О!.. О!.. Он рассказывает... — повернулся к Петьке: — Что ты нам рассказываешь?

— «Песнь о вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина, — с достоинством ответил Петька.

— Он рассказывает песню! Говорят, из песни слова не выкинешь. Почему? Да потому, что после такой опе-

рации она делается инвалидом второй группы! А он,— Герасим Гаврилович, как штыком, ткнул пальцем в Петьку, не поворачивая к нему лица,— он, вандал! варвар! палач! грубой ручищей схватил чудное творение и, ничтоже сумняшеся, одним махом отсек ему голову, а туловище вместе с самым дорогим — душой выбросил к чертям собачьим! Ты понимаешь, что ты содеял? — обернулся к Петьке.

— Зато так оригинально,— попробовал защитить себя Петька.

— Псев-до! Понимаешь? Не понимаешь. Значит — лже! Лжеоригинально! Преступнооригинально! Это кощунство! Начинай все сначала.

Петька заметно скис. Замаялся. Однако делать было нечего, начал. Но дойдя до тех слов, после которых он сказал «и так далее», запнулся и опустил голову.

— Дальше? — как бы подстегнул его Герасим Гаврилович.

Петька утер рукавом нос, хотя делать это было совсем не обязательно.

— Забыл...

— «Нуль»,— сказал Герасим Гаврилович, словно пригвоздил Петьку к позорному столбу, и взял ручку.— «Нуль», но с величайшим сожалением пишем «один»...

— Ну и Лысый! Я же говорю — философ. Его фиг проведешь. А колище мне всади-и-л! Я заглянул. Жирный и во всю клетку,— безо всякого огорчения скажет эти слова Петька потом, на перемене. А пока шел урок...

— «Песнь о вещем Олеге» пойдет читать...— Герасим Гаврилович склонился над журналом.

— Можно, я пойду,— донеслось робкое с задней парты.

Все разом оглянулись до того удивленные, как если бы услышали живой голос самого Александра Сергеевича. Оглянулись и увидели Вовку Ступенькова с поднятой рукой.

— ...пойдет Ступеньков,— сказал Герасим Гаврилович и отошел к двери. Никакого удивления на его лице мы не заметили.

Вовка Ступеньков был в нашем классе на особом положении. Впрочем, Вовкой его никто не называл. Учителя, разумеется, только Ступеньковым, а мы, ученики, Коланей. Это прозвище тащилось за ним еще с первого класса. А получил он его за рекордное число «колов» как в тетрадках, так и в журнале. Перетягивая из класса в класс, Лидия Степановна дотянула его до пятого. Удалось ей это только потому, что Коланя, как правило, в конце учебного года «брался за ум» и начинал учиться так, что утирал носы самым способным ученикам, и, естественно, был перетаскиваем в следующий класс. А потом, словно бы боясь потерять свое прозвище, опять лоботрясничал до самой весны. В пятом Коланя застрял. Наверное, потому, что учителя по разным предметам были уже разные и «тянули» они его не очень дружно. В шестом Коланя тоже остался на второй год. Его определили в наш класс. По-видимому, он решил остаться в шестом и на третий год: к учебе был равнодушен так же, как, скажем, гусь к сему. Как и положено лоботрясу, Коланя сидел на «камчатке», то есть на самой последней парте в углу. Спокойный от природы и апатичный от обуявшей его лени, он никому не мешал, не безобразничал. Поставив на парте кулак на кулак, он клал на них голову и со сладкой мечтательностью смотрел в окно. Смотрел, смотрел — и засыпал. Очнувшись, зевал, потягивался и начинал чем-нибудь развлекаться. Рисовал, читал книжки или просто рассматривал в них картинки. Что-нибудь жевал, иногда пил принесенный в бутылке мед. Учителя, видя все это, никаких замечаний ему не делали: все, что не мешало работать с классом, Колане разрешалось. Домашних заданий не проверяли, за пропуски уроков не ругали. Коланю просто не замечали.

Правда, однажды, еще в самом начале учебного года, новенькая историчка, задав классу вопрос, посмотрела в журнал и вызвала отвечать Коланю, который как раз начал засыпать, положив голову на кулаки. Услышав свою фамилию, он даже изумился — наверное, так странно для него она прозвучала. Поднял голову, удивленно и сонно посмотрел на учительницу, после некоторого колебания стал тяжело, по-стариковски, только что без крихтения, подниматься, но во весь рост так и не поднялся, сел на скамейку и сказал вяло, через силу:

— А меня не надо спрашивать.

— Почему? — удивилась учительница.

— А все говорят, что я этот... как же... дебил,— и, как бы подтверждая сказанное, изобразил на лице идиотскую улыбку.— Вам разве не говорили? У нас на всю семью — одна извилина. И та прямая. Гы-гы... — и, как мешок с овсом, сполз на скамейку.

Класс засмеялся, а учительница смутилась,— ей, наверное, и в самом деле забыли сказать о Колане,— пожалала плечиками и вызвала отвечать другого ученика.

Уже со следующего урока историчка, как и другие учителя, не стала замечать Коланю. Значит, получила о нем исчерпывающую информацию.

То одиночество, в котором протекала школьная жизнь Колани, порой наскучивало ему. Видно, и его душа, ото всего отрешенная, беспечно дремлющая, все-таки требовала общения с людьми. Когда это требование бывало особенно настойчивым, он поднимал руку, желая что-то сказать. Но учителя старались не замечать Коланиной руки, зная наперед, что ничего путного он не скажет. Тогда Коланя, улучив момент, вклинивался:

— Вот свежую рыбу ловят в реках, соленую — в соленых морях. Это я знаю. А копченую? В копченых, что ли? — при этом лицо он делал глуповато-наивным.

Учительница географии смотрела на него насмешливо и брезгливо и мерно кивала головой:

— Какая ты все-таки темнота.

— Да? Значит, вы меня боитесь?! — картинно удивлялся Коланя.

— С чего бы это?

— А темноты все боятся. Даже взрослые. А женщины так в первую очередь...

Класс был доволен, смеялся. Учительница строго замечала:

— Ничего смешного не вижу. Просто глупо.

А то Коланя предлагал разгадать загадку:

— До каких пор волк в лес бежит?

Но вместо разгадки ему говорили:

— Да-а-а, трудновато, видно, тебе жить вот так, лоботрясничая.

— А я стойкий. Трудностей не боюсь, — не теряясь, отвечал в тон Коланя. — Как-нибудь перезимуем. Нам не привыкать.

Наверное, вот так же и на уроке литературы однажды потребовала, напористо и безудержно, Коланина душа общения.

Речь у нас шла о былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Герасим Гаврилович объяснял нам значения употребленных в былине старорусских слов, когда Коланя беспардонно вылез:

— А я вот сижу да думаю: во время войны наши солдаты были Ильями Муромцами, а фрицы — погаными Соловьями-разбойниками, — и умолк.

Умолк и Герасим Гаврилович. Поднял на лоб очки, одновременно захлопнул хрестоматию, выпустил на широкий простор свою улыбку, пристально, с любопытством поразглядывал Коланю, поднял вверх палец:

— О!.. О!.. Ступеньков! — рассек воздух пальцем, направил его на Коланю и обратился к классу: — Я слышал. А вы?.. Что есть такое фокус, знаете?.. — рукой, в которой держал хрестоматию, махнул на Петьку, уже открывшего было рот. — Да я не о твоих выходках. У это-

го слова есть еще и другое значение: точка, в которой собирается пучок лучей. Так вот он, Ступеньков, собрал, сфокусировал в словах, которые вы только что слышали, самую суть, соль бычины. Он,— Герасим Гаврилович ткнул пальцем-штыком в Коланю,— постиг тайну произведения с необычной, с завидной простотой! Великолечно, Ступеньков! Оригинально! «Шесть». С плюсом. Но, к сожалению...

Герасим Гаврилович поставил Колане «пятерку» с плюсом, Коланя, не ожидавший ничего подобного, смутился и спрятался за спины впереди сидящих учеников, но в душе, надо думать, был польщен. Каким бы лоботряс ни был лоботрясом, пусть хоть самым распоследним, а самолюбие есть и у него.

На следующих уроках русского языка и литературы Коланя по-прежнему бездельничал. Однако стал иногда краем уха слушать, о чем идет речь. Говорю это с полнейшей уверенностью. Потому что, бывало, нет-нет да и бросит Коланя, как бы нехотя, какую-нибудь реплику.

Скажем, Валька Козлова написала на доске под диктовку Герасима Гавриловича предложение: «По небу плыли рыхлые облака».

Кто-нибудь найдет допущенную ошибку, скажет:

— После «л» надо написать «а», потому что к слову «облако» можно подобрать родственное слово, в котором «а» стоит под ударением.

И начинаются поиски родственного слова.

— Облачко.

— Облачность.

— Облачный,— предлагают ученики.

— Не то, все не то,— возражает Герасим Гаврилович.— Нужно слово, в котором «а» стояло бы под ударением. Есть такое слово?

— Это слово не проверяется ударением. Его надо запомнить,— неуверенно говорит Валька Козлова.

— Можно, конечно, и запомнить. Все, что хочешь, можно запомнить. Но все-таки лучше понять. А когда поймешь — запоминать уже не надо... Но вернемся к «облакам». Есть у них родственное слово, в котором «а» стоит под ударением. Давайте будем его искать.

И все начинается сначала: «облачность», «облачко», «облачище» и даже «облаковатость».

— Да нет же, нет... Не там ищите.

— Да обвола-а-акивать, — не поднимая головы, и не отрывая взгляда от окна, скажет Коланя с некоторой раздраженностью. Мол, я не стал бы вмешиваться в ваши дела, но, поверьте, надоело, слушать тошно, такого пустяка сообразить не можете.

— Слышали? Обвола-а-акивать, — повторяет Герасим Гаврилович. — Все вы на одном месте топтались. Так не найдешь. А вот Ступеньков — смелый, ступил шаг в сторону и — нашел. О!..

Коланя испытывает удовольствие. Как он ни старается, чтобы это не проявлялось внешне, — ничего у него не получается — видно. Кидать реплики на уроках Герасима Гавриловича стало для него своеобразной игрой, развлечением. А всякая игра, если она нравится, вызывает азарт. Коланя все больше и больше прислушивался к тому, о чем идет речь на уроке, и заметно меньше дремал и глазел в окно. Случалось, что Коланя поспешал и говорил что-нибудь невпопад.

— Не то, — как и каждому другому ученику, возражал ему Герасим Гаврилович.

Колане становилось досадно. Стучал кулаком по лбу, ругал себя вполголоса:

— Не знаешь, так не высовывайся, дурак...

Однажды мы писали в классе сочинение на тему: «Запомнившийся мне случай». У каждого ученика такой случай нашелся. Кто-то прошлым летом ходил в лес по ягоды и видел зайца, кому-то посчастливилось поймать громадную щуку, кого-то прокатил на автомобиле дач-

ник... Вот тут Петькино «и так далее» будет как раз на своем месте, потому что каждому ясно: ребятишек волнует то, что им близко, что, на их взгляд, значительно, то они и описывают.

На другой день Герасим Гаврилович принес стопку тетрадей с нашими, уже проверенными, сочинениями, снял сверху одну тетрадку, положил ее на свой стол, остальные протянул дежурному:

— Раздай.

Когда все увидели свои оценки и исправленные ошибки, заглянули в тетради соседей, погалдели, Герасим Гаврилович взял отложенную тетрадь, затасканную, помятую, с кляксами и жирными пятнами на обложке.

— Теперь все послушайте, — открыл тетрадь и стал читать.

За давностью лет я, конечно, не смогу точно воспроизвести того, что прочитал нам Герасим Гаврилович, но смысл помню отлично. Был он таков.

Случаев разных полно. Что ни день, то какой-нибудь да случай. Вот хотя бы вчера. Пришел я из школы, матушка налила мне миску щей и говорит: «Ешь. Горячие щи, вкусные». И подала ложку. Деревянную. Старую-престарую. Узоров, какие были на ней, давно уже не видно. Края потрескались, местами выщербились. Этой ложкой еще мой дедушка ел. «Скоро, наверно, выбросят ее, — подумал я про ложку. — А знает ли она вкус щей? Ведь всю жизнь в них купалась? Ничего она не знает. Дерево и есть дерево». Поел я и пошел в библиотеку, книжки сменить. Прихожу, а библиотекарь Василий Хорин, как всегда «косой», сидит в шапке и дымит всю сигаркой. Прямо в морду деду Дашкову. Сколько лет уже сидит Хорин среди такой уймы книг, а толку-то от этого — культуры не набрался. Вот и весь случай.

— О!.. Уразумели? — спросил Герасим Гаврилович, кончив читать. — Великолепно! По содержанию лучшее сочинение из двадцати шести. Оригинально! Это ж прит-

ча!.. А теперь полюбуйтесь-ка, — Герасим Гаврилович, приложив тетрадь к груди, показал нам текст. — Видите?

Мы увидели. Сочинение занимало всего одну страницу. Но на этой странице было сделано столько исправлений красными чернилами, что создавалось впечатление, будто на ней давили ягоды малины.

— За содержание — «шесть» с двумя, с тремя плюсами, за грамматику — три «нуля»! — Герасим Гаврилович подошел к Колане, бросил на парту тетрадку, приставил к Коланиному лбу указательный палец. — У тебя ж ума палата, на четверых хватит, еще и пятому останется, — наклонился к самому уху Колани и как бы по секрету, но громко, чтобы слышали все: — А кем ты им кажешься? — обвел класс рукой. — Задумывался? Ни черта не задумывался. Воли, усидчивости в тебе нет. А человек без воли — солома! труха! навоз! дерьмо! Таких не уважаю. А чего мне тебя уважать, если ты безразличен сам к себе? Значит, ты тоже себя не уважаешь. Сиди, кисни, — Герасим Гаврилович резко повернулся и направился к своему столу. Не дойдя до него шага два, обернулся: — Все-таки ты подумай...

А на другой день вслед за Петькой, потерпевшим большую неудачу со своим «и так далее», Коланя, к великому удивлению класса, вышел по собственному желанию читать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Смущенно, отвернув голову в сторону, чтобы не смотреть ученикам в глаза, он без единой запинки прочел все от первого стиха до последнего. Герасим Гаврилович поставил ему оценку. Какую именно, сейчас не помню. Только не «шесть», к сожалению, пять пишем, один запоминаем...» — это точно. Герасим Гаврилович не очень высоко ценил наше мастерство художественного чтения. Слушая нас, он часто мотал головой и морщился, как если бы, читая стихотворение, мы постоянно наступали ему на большую мозоль. Сам же Герасим Гаврилович читал превосходно. Его можно было заслушаться. И мы

заслушивались. Очень вероятно, что со временем он смог бы и нам, если не всем, то кому-нибудь из самых способных, передать хоть небольшую толику своего мастерства. Тогда ему меньше приходилось бы морщиться, и, как знать, может, иногда он произносил бы даже свое «О!.. Великолепно!». Но однажды, закончив урок, он закрыл журнал, снял очки, спрятал их в нагрудный карман гимнастерки, улыбнулся и сказал:

— Ну вот, братцы-кролики, и все. Теперь с вами будем встречаться только в коридоре, на улице... Завтра к вам придет новая, постоянная учительница, — сунул под мышку журнал, сделал прощальный знак рукой. — Будьте молодцами! — и направился к двери...

Мы были опечалены, нам не хотелось расставаться с Герасимом Гавриловичем, хотя еще и не привыкли к нему как следует, хотя еще и не поняли его до конца. Явившись к нам добрым и пламенным сказочником, он прочитал нам только несколько страниц из большой интересной книги, показал кое-какие картинки и ушел... А самое-то интересное, самое увлекательное в той книге было бы потом, впереди...

И вот к нам в класс вошла... Нет, не вошла, а, как я уже говорил, впорхнула Зоя Сергеевна, очень напоминающая своим обликом ласточку.

— Здравствуйте. Садитесь, — сказала бесцветным прохладным голосом.

Открыла журнал и стала с нами знакомиться. Называла по списку фамилии, мы поднимались и говорили: «Я». Так как Зоя Сергеевна смотрела в журнал, читая фамилии, то на учеников взглянуть не успевала. Только на некоторых бросала короткий взгляд и попутно делала замечания, если кто пытался «фокусничать»: «Неумно». Или: «Стань правильно». Или: «Не вижу ничего смешного». Или: «Не обезьянничай».

Когда знакомство закончилось, Зоя Сергеевна велела нам закрыть учебники и тетради, потом сказала: «Всем сесть правильно». Проверила, как выполнены ее приказания, и лишь тогда сообщила:

— Сегодня мы будем изучать басню Ивана Андреевича Крылова «Осел и соловей».

Открыла хрестоматию, прочитала басню. Спросила:

— Кому что неясно?

Нинка Кочуганова подняла руку, встала и спросила:

— А что такое Авр... Авр... Аврора?

— Аврора? — Зоя Сергеевна немножко помедлила и немножко покраснела, наверное, оттого, что это был первый вопрос, который ей задали в нашем классе. Глаза ее забегали вверх-вниз, влево-вправо, шмыгнули в хрестоматию, остановились на нижней кромке страницы. — Авророй древние римляне называли богиню утренней зари. — И Зоя Сергеевна почему-то покраснела еще больше, ни дать ни взять сама стала похожа на утреннюю зарю. Наверное, потому, что это был первый ответ, который она дала в нашем классе: ведь всякий человек, даже если он учитель, смущается, когда попадает в новую обстановку и к новым людям. — А сейчас...

Мы не успели услышать, что должно было быть «сейчас», потому что тут черт дернул за язык Петьку:

— А еще есть сигареты «Аврора», — при этих словах Петька незаметно для учительницы, но заметно для меня и других похлопал по оттопыренному карману штанов и легонько подмигнул мне украдкой.

Очень некстати вылез Петька со своими, вернее, с нашими сигаретами. Валька Козлова, а между нами просто Коза, первая в классе ябеда и подлиза, тут же подняла руку и бессовестно донесла:

— А Резуненко, — вызывающе и чуть-чуть брезгливо, как это умеют только ябеды и подлизы, покосилась на Петьку, — Резуненко на прошлой перемене в дровнике курил. Я видела.

Петька съежился и втянул голову в плечи, словно боясь, что с потолка на его макушку может свалиться что-нибудь тяжелое. Я же не только съежился. Я готов был залезть под парту, только бы не попасться на глаза Козе, потому что на прошлой перемене в дровнике Петька курил не один. Курили Коланя, Академик и я. Коза могла видеть и нас.

— Школьникам курить нельзя. Вы это знаете,— сказала учительница строго, но голос ее, кажется, не предвещал большой беды.— И какие бывают папиросы и сигареты, тоже знать нельзя.

На этом, для всех более или менее благополучно, разговор о злосчастной Авроре закончился. Когда прозвенел звонок, Петька показал Козе выразительный кулак и прошипел:

— Подожди, пойдешь домой...

Конечно, прошипел только для порядка. Петька был доволен, что отделался всего-навсего лишь коротеньким внушением. Подмигнул мне:

— Айда?

И мы пошли в дровник. К нам присоединились еще Коланя и Юрка Шабров, прозванный за большие познания во всех науках и за большое число прочитанных книг Академиком. Коланя курил уже по-настоящему и открыто. У него было большое преимущество перед нами: как отпетый, он никого не боялся. Академик — напротив, только начинал и не очень успешно. Когда ему оставляли «бычка», он «зобал», дым выпускал почему-то через одну ноздрю и заходил в таком кашле, что Петька всякий раз закрывал ему рот ладонью и шипел:

— Выдашь же, стервоза!

Петька с горьким сожалением, даже чуть ли не со вздохом, утверждал, что Академик — не курец. От природы. И всегда давал ему «бычка» неохотно. Да и Академик просил не настойчиво. Для него большее удовольствие составляло просто присутствовать и наблюдать,

как курят другие. В таком удовольствии ему никогда не отказывали, но платил он за него тем, что стоял «на вассере».

— А новая училка ничего, не очень вредная,— сказал Петька, прикуривая.— Другая, если бы услышала про курево, сразу бы — покажи карманы и — к директору.

— Из городских,— заметил Коланя,— ишь, какая вся расфуфыренная.

— Интересно, замужняя, нет? Замужние «колов» меньше ставят,— авторитетно заявил Петька.

— Ты че? Откуда замужняя? — скептически сморщил нос Коланя.— Может, года на три, самое большое, на четыре старше меня.

— А по-моему,— вступил в разговор Академик, который стоял возле дощатой двери и смотрел в щель. В случае возможной опасности он должен был сказать: «Атас!»,— у нее получилась любовная драма. На ее лице печать...

— Пошел ты со своими драмами и печатями, знаешь, куда,— ехидным тоном прервал Петька Академика.— Почитался всякой муры про любовь, вот и мелешь теперь хуторню... Давай смотри, Коза не подкрадывается?

Академик ничего возражать не стал, прищурил один глаз, другим прильнул к щели.

— Нет, все-таки она замужняя,— твердо сказал Петька и обосновал свое утверждение замечанием, которого я не расслышал, вернее, не понял.

— Фигня это,— махнул рукой Коланя.

— И ничего не фигня,— стоял на своем Петька.

— Да узнаем, чего спорить.

На этом разговор в дровнике и закончился.

А на следующем уроке, едва Зоя Сергеевна вошла в класс, Петька спросил нараспев:

— А вы откуда прие-е-ехали?

Зоя Сергеевна мельком бросила на Петьку нарочито равнодушный взгляд и сказала:

— Всем закрыть учебники и тетради. Слушайте первый вопрос...

Но Петька опередил ее, задав свой второй вопрос, уже несколько настойчивее:

— А вы замужем?

— Мы изучаем русский язык и литературу, а не мою биографию, — ответила Зоя Сергеевна резко, с вызовом.

И вызов ее тут же был принят Коланей. Он спросил, как и обычно, придурковато:

— А это правда, что у вас была любовная драма, и вы из-за нее уехали из Москвы в Сибирь? — про Москву Коланя сочинил, Академик такого не говорил.

Зоя Сергеевна покраснела еще сильнее, чем вчера, когда объясняла слово Аврора. Она сделалась багровой.

— Что за наглость! — и с такой силой ударила кусок мела об пол, что он раскололся на несколько частей. Одна из них, самая большая, угодила в лоб не кому-нибудь, а самому Академику. Зоя Сергеевна кинулась к двери и выбежала из класса.

А через некоторое время с конца коридора, где находилась учительская, послышался и стал приближаться очень хорошо знакомый скрип туфель: грызо-гразо, грызо-гразо, грызо-гразо. В наших ушах скрип этот звучал как: «Безо-бразье!», «Безо-бразье!». К нам шла Мария Ивановна, директор школы. Один злоеущий скрип ее туфель нагонял на нас куда больше страха, чем отец Вальки-Козы, который работал милиционером. Он всегда носил пистолет, и, говорят, у него в кармане были еще наручники — на тот случай, если вдруг поймает, скажем, бандита или какого другого опасного преступника. Валькиного отца мы просто боялись, и все. А при появлении Марии Ивановны мы трепетали. Если, к примеру, она шла во время перемены по коридору, ученики по стойке смирно выстраивались вдоль стен и переставали дышать. Слышно было только злоеущее «грызо-гразо» — «безо-бразье!»

— Безобразье! — сказала Мария Ивановна, войдя в класс, и мы застыли.

В такие моменты, когда Мария Ивановна бывала чем-то возмущена, она смотрела одновременно на всех, но ни на кого в отдельности. Словно бы опасалась, что если посмотрит на кого-то одного из учеников, то с ним что-нибудь случится, скажем, он упадет в обморок. Если она отчитывала в своем кабинете отъявленного хулигана или лоботряса, то смотрела не на него и не на что-то другое, а только на гранитный чернильный прибор. Будто Мария Ивановна знала, что только камень способен вынести огонь ее взора, все остальное треснет, рассыплется, завянет. — Безобразье! Кто вам дал право?! Я вас спрашиваю: кто вам дал право так обращаться с учителем?! — Она выговаривала слова, будто гвозди вбивала в стену. — Что это еще за дурацкие вопросы? Чтобы этого больше не было! — Мария Ивановна постучала по крышке стола пухлым пальцем, но звук почему-то получился твердый и сухой, как если бы она постучала голый костью. Сверкнула глазами и вышла.

«Безобразье!», «Безобразье!» — доносился из коридора удаляющийся скрип ее тувель. Потом жалобно скрипнула дверь учительской, и стало тихо, как в глубоком погребе...

Вот такой мы знали директора Марию Ивановну. И, конечно же, не думали, не подозревали, что она может быть другой. Но, оказалось, — может. Однажды, когда я уже закончил техникум и работал преподавателем в профтехучилище, мы с ней встретились в поезде. Я ехал навестить родителей, а она — из гостей от сына, который работал инженером на большом заводе в большом городе. Мы разговорились, и я узнал другую Марию Ивановну, немолодую женщину с живым, но совсем не пугающим взором, любезную и даже обаятельную. Она кое-что рассказала мне из своей жизни, обычной жизни обычного человека, то есть непростой и нелегкой. Почти незамет-

но пролетели два часа, и мы расстались. И тогда я подумал: а что, собственно, такое особенное произошло, что изменилось за какие-то пять лет? Едва ли за это время стал сколько-нибудь другим нрав Марии Ивановны. Но зато изменился я. Теперь я не ученик ее, а взрослый самостоятельный человек. Вот потому Мария Ивановна и сочла возможным показать себя другой. Такой, какой, думаю, она была на самом деле...

Уже на следующий день наши отношения с Зоей Сергеевной вошли в привычное для нас, ровное, без крутых поворотов, без разливов, без порогов и отмелей русло и не выходили из него до самого окончания седьмого класса. Зоя Сергеевна приходила в класс, говорила нам «здравствуйте — садитесь», вела опрос, ставила, кто какие заслужил, оценки, походя делала замечания: «Романов, не попугайничай», «Шабров, стань на ноги», «ничего нет смешного». Объясняла новый материал. Порой до того монотонно, что хотелось положить голову на руки и заснуть. Как это делал Коланя. Кстати, о нем. Как и прежде, он протирал штаны на своей «камчатке». А с наступлением весны отец Колани, колхозный тракторист, взял его к себе прицепщиком, и на этом, насколько я знаю, Коланино образование закончилось.

На уроках русского языка и литературы мы снова стали ходить «в угол». Но вскоре, правда, только на уроках литературы перестали пользоваться этим приемом, избавляющим нас от неминуемых «двоек» и «колов», потому что Петька — опять же он! — изобрел, или, как говорил он, вывел новый, куда более надежный и безопасный способ получения отличных и хороших отметок.

Однажды Петька подошел ко мне иронически-загадочный:

— Братишка, дай характеристику Тарасу Бульбе.

Эта Петькина просьба меня немало удивила. Гоголя

мы уже давно «прошли», а ему вдруг понадобилась за-чем-то характеристика Тараса Бульбы, которую он сам же давал у доски. Я это отлично помнил, потому что с ним тогда еще произошел небольшой казус. Тогда Петька... Впрочем, об этом вспомним чуть позже.

— Повторение — мать учения. Для твоей же пользы, дурашлеп.

В Петькиных словах я уловил нечто такое, что сулило добро. Это меня подкупило, и я выпалил:

— Тарас Бульба — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и очень ненавидит своих врагов. Правильно?

— Если бы во время ответа ты не чесал свое пузо, то было бы даже отлично, — оценил мой ответ Петька. — А теперь дай характеристику Остапу. Для твоей же, говорю, пользы, братишка, — предупредил Петька мой возможный отказ.

— Остап — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и ненавидит... — я запнулся, потому что сказал что-то не совсем так. Ах, да! В спешке я пропустил слово «очень». «Очень ненавидит...» — так говорила Зоя Сергеевна. На поиски и исправление ушла какая-нибудь секунда... — и очень ненавидит своих врагов.

— О! Великолечно! — Петька поднял палец вверх, подражая Герасиму Гавриловичу. — Допер?

— Что?

— Нет, ты тупее, чем я думал, — разочарованно сказал Петька. — Тогда дай-ка еще характеристику...

— Все гениальное — просто! — изрек стоявший тут же Академик. — Я уже допер.

— Кажется, я тоже допер.

Чуть позже «доперли» все, кто хотел. И началось... Бывало, Зоя Сергеевна скажет:

— Дать характеристику Чапаеву. К доске пойдет... И тут выросла лес рук. Зое Сергеевне это очень нра-

вилось. Готовились, знают! Ее учительское самолюбие торжествовало. Вызванный ученик шел к доске и, едва успев повернуться лицом к классу, начинал чеканить:

— Чапаев (Корчагин, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и т. д.) — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и очень ненавидит своих врагов!

Зоя Сергеевна обожала эти четкие, ясные и особенно громкие ответы и с величайшим удовольствием ставила ученику «пять», если он, отвечая, не пытался сунуть руку в карман, не шмыгал носом или не делал еще чего-нибудь недозволенного. Если же что-нибудь недозволенное делалось, то оценка снижалась на один балл. Но так ли уж это важно? «Четверка» — оценка тоже хорошая. Только вот жаль, что новый, выведенный Петькой метод нельзя было применить с таким же успехом на других уроках, скажем, алгебры, физики, истории. Не будь этого недостатка, представляю, на какую высоту можно было бы поднять успеваемость в классе! И даже в школе! И даже во всех школах района! И даже!.. Впрочем, к чему мечтать и восторгаться невозможным?..

Мы видели, как торжествует учительское самолюбие Зои Сергеевны, когда вырастал лес рук учеников, желающих идти давать характеристику Чапаеву (Корчагину, Теркину, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и т. д.), видели, как она обожает наши четкие, ясные и особенно громкие ответы. Но она старалась не выказывать своих чувств, потому что находила неприличным для учителя обнажать их перед учениками. Должно быть, она считала, что это то же самое, что рассказывать школьникам свою биографию. Или смеяться со всем классом над чем-нибудь пусть и в самом деле смешным.

Вот тут и будет кстати вспомнить о казусе, который произошел с Петькой, когда он по собственному желанию пошел давать характеристику Тарасу Бульбе. Надо ж было такому случиться, что пока он шел к доске, за-

был имя Тараса. Невероятно, но забыл. С выдающимися личностями — а Петька среди нас был именно такой личностью — вечно случаются разного рода странности. Например, гениальный Эйнштейн был физиком, а, рассказывают, скорости звука не помнил. «Но если это так необходимо, — говорил Эйнштейн, — то мы ее моментально вычислим». И все-таки ему было легче, чем Петьке. Он мог вычислить, а вот попробовал бы гениальный Эйнштейн вычислить имя Бульбы, которое забыл и с которого надо начинать ответ. Сказать просто Бульба — не скажешь, потому что Остап и Андрий тоже были Бульбами. Но не было такого положения, из которого Петька не выпутался бы. Он кашлянул и начал, как всегда, бодро:

— Товарищ Бульба, отец Остапа и Андрия, был...

Последующих Петькиных слов уже никто не слышал, их заглушил наш дружный смех. Смеялись мы от души: очень уж непривычно для слуха прозвучало слово «товарищ» в сочетании с «Бульбой». Зое Сергеевне тоже хотелось рассмеяться вместе с нами. Очень хотелось. Это видно было по ее лицу. Но Зоя Сергеевна мужественно боролась сама с собой, старалась во что бы то ни стало спрятать, законопатить внутрь себя вдруг явившееся чувство веселости. Для этого ей пришлось даже отвернуть голову в пустой угол, чтобы ученики — упаси, боже! — не видели ее лица, сделавшегося вдруг таким до прелестности ясным и простым. Но нет, ничего не вышло у Зои Сергеевны. Из ее груди вырвался звук, который она хоть и пыталась подать нам как кашель, но то был самый настоящий смех. Это поняли все. И она сама поняла и испугалась. Испуг помог ей прийти в себя и принять прежнее казенно-строгое выражение лица.

— Нет ничего смешного! — сказала Зоя Сергеевна.

Но как же нет, когда мы смеялись и видели, что ей тоже было смешно?..

В тот день я был дежурным по классу, и, как только

настала перемена, я пошел в учительскую за колбами, пробирками и разными препаратами, потому что после литературы по расписанию был урок химии. Когда я отворил дверь учительской, меня окатило мощной волной смеха. Лица учителей были обращены к Зое Сергеевне.

— ...да, главное, с таким серьезным видом: «Товарищ Бульба»,— и она тоже засмеялась. Открыто и вольно. Лицо ее, как и на уроке, опять сделалось прелестным. Даже еще прелестнее. Оно было очаровательным.

Я стоял и любовался лицом Зои Сергеевны, забыв, зачем пришел.

Зоя Сергеевна, должно быть, почувствовала на себе мой пристальный взгляд и повернула голову ко мне. Брови ее дрогнули, и она сделалась серьезной и строгой.

Другие учителя тоже повернулись ко мне и тоже сделались серьезными и строгими. И даже как будто обескураженными, смятенными, словно бы они увидели во мне свидетеля какого-то их неблагоприятного поступка.

— Что тебе? — недовольно спросил учитель химии Михаил Евграфович.

— Я за колбами...

— Бери,— указал он на подоконник, на котором было приготовлено все, что требовалось для урока.

Когда я затворил за собой дверь, в учительской вновь послышался смех.

И вот тогда в голову мне пришла мысль, от которой я не могу отделаться по сей день: придя в класс, Зоя Сергеевна начинала играть какую-то роль. Должно быть, она считала эту свою роль очень важной, потому что играла ее добросовестно и четко, не допуская никаких вольностей и отклонений. И ей, конечно, было досадно, что Петька рассмешил всех своим «товарищ Бульба», он на какое-то время сбил ее с роли.

А в седьмом классе уже в конце учебного года сбил с роли Зою Сергеевну многознающий Академик. Однажды он пристроил на коленях какую-то книгу и ушел в

чение с головой. Потому и не заметил, как подошла Зоя Сергеевна и потребовала:

— Дай сюда.

Бесхитростный Юрка вытащил из-под парты небольшую толстенную книжку и неохотно передал ее в руки учительницы. Зоя Сергеевна прочитала на обложке имя автора и сказала:

— Читать Есенина тебе еще рано. И вообще не советую его читать.

— Почему? — спросил Юрка.

Странный все-таки народ эти академики. Сколько и чего только не знают, а все им мало. «Почему?» — спрашивает. А того не понимает, что он ученик, и от него требуется молчаливое согласие, а не вопрос, которого учительница не ждет. А раз она его не ждет, значит, он сбивает ее с очень важной серьезной роли. И естественно, что Зоя Сергеевна рассердилась и сказала нервно:

— Читать надо только то, что проходим, а не всякую бестолковщину. Есенин — поэт легкомысленный. Он воспевал только чувства да вино.

— Значит, Пушкина и других тоже не надо читать? — совсем осмелел и съязвил Академик.

Зоя Сергеевна посмотрела на него непонимающе и растерянно. Юрка пояснил:

— «Подыдем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!..»

— Шабро-о-ов! — изумилась Зоя Сергеевна. — Это же Пуш-ш-шкин!

— Ну и что?

— Как — что?! Это Пуш-ш-шкин! Его изучают!

— Запретить надо, потому что «и за учителей своих заздравный кубок...»

— Шабров! — оборвала его Зоя Сергеевна, потому что это было уже слишком. — Каким ты тоном разговариваешь?! — и снова вошла в свою роль. По логике даль-

ше должен был следовать эпизод удаления Академика из класса или даже отправление к директору. Но Юрке повезло. Зоя Сергеевна этот эпизод почему-то опустила. Наверное, потому, что времени оставалось мало, а надо было еще закрепить новый материал.

Не знаю, запомнил ли Юрка этот случай и какой вывод для себя сделал, если запомнил, не знаю, какие выводы сделали другие ученики, я же заключил, что настоящих поэтов столько, сколько «проходят». А из современных «проходили» только Твардовского, Симонова, Тихонова, Исаковского. Кажется, еще кого-то. Вот они и есть настоящие поэты.

Однако каково же было потом мое разочарование!.. Не скажу, что оно было неприятным...

...Я поправил под мышкой книги.

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидел зеленый луч...»

Зеленый луч... Зеленый луч...

И будто докатилось плутовавшее где-то эхо: «Ах, это стихи!..» Как коротко и как ясно...

С такими грустно-веселыми мыслями я и подошел к дому Герасима Гавриловича. Еще с улицы заметил его самого. В соломенной шляпе, в синей, выгоревшей на плечах рубашке, он что-то строгал рубанком на верстаке, устроенном под небольшим навесом возле стайки. Сдал Герасим Гаврилович, еще больше сдал: усох, ссутулился, а рубанок в его руках кажется тяжелым, и гоняет он его как-то неуклюже.

Звякнул снятый мною крючок калитки. Герасим Гаврилович поднял голову, сдвинул на лоб очки, прищурил

глаза, вытянул вперед шею. Не может узнать... Нет, узнал. Заулыбался все так же, ласково-иронически.

— О! — вскинул вверх указательный палец. И тут же погрозил им: — «Я стар, но взор мой не угас!»...

Знакомые слова... А-а-а, так значит, четвертый экземпляр сборника Мартынова здесь! Герасим Гаврилович купил его раньше, чем мне захотелось ему подарить.

— Прахады, ддарагой, прахады. Гостэм будэш,— Герасим Гаврилович любил иногда ради потехи сказать что-нибудь с кавказским акцентом, и получалось у него это превосходно. На фронте он воевал в одной роте с аварцем, тоже учителем. Аварец читал и переводил Герасиму Гавриловичу стихи Абуталиба и Гамзата Цада-сы, а Герасим Гаврилович читал ему басни Крылова, и они вместе переводили их на аварский. Этот язык он немного знал и восхищался его мелодичностью.

— Чем это вы занимаетесь?

Герасим Гаврилович, сопя, пристально порассматривал меня, плутовато прищурил глаза.

— Поточным методом выпускаю кружки для кадок. Заказ бабки.

— А сама-то тетя Аня где?

Герасим Гаврилович молчит. Лукавит. Сейчас что-то такое, ребусное скажет. И сказал. Нарочито вяло, обыденно:

— В командировке.

— Далеко уехала?

— Ху-у-у-у! — значит, очень далеко, чуть ли не на самый край света. И тут же ткнул пальцем в огород. — В погребе. Огурцы солит. Ну, айда, «дурачком» тебя оставлю.

И он повлек меня в дом.

Я уже знаю, что будет дальше. Из-за зеркала на стене Герасим Гаврилович достанет завернутую в зеленую бумажку колоду карт, не торопясь развернет их, подведет меня к книжному шкафу и начнет, цокая языком,

хвастать тем, что у него появилось нового. Будет исподволь поглядывать на меня — очень ли я завидую, — понаслаждается, когда заметит, что у меня заблестели глаза при виде какой-нибудь новинки или редкости. Потом начнет мне предлагать свой старый вариант обмена: он мне — собрание сочинений Джека Лондона, я ему — шеститомник Александра Грина. Я, как и раньше, буду не соглашаться. Он сделает вид, что обиделся, демонстративно спрячет карты снова за зеркало. Но видя, что я к этому совершенно равнодушен, почешет свою уже не плешинку, а плешь и начнет испытывать новый вариант. Вытащит из глубины шкафа «Крылатые слова» Ашукиных, взвесит в руках, скажет:

— Между прочим, вещь для тебя необходимейшая, — а сам будет, как кот на сало, поглядывать на «Письма из русского музея» Солоухина, которые вместе с другими, купленными у Татьяны Михайловны, книгами я пристроил на комод.

Я засмеюсь бесцеремонно и посмотрю на него в упор.

— «Крылатые слова» у меня есть.

— Откуда?!

— А вы мне подарили. Два года назад. Забыли?

Он будет сражен. А я буду радоваться, наслаждаться до тех пор, пока не почувствую, что вот-вот Герасим Гаврилович и вправду обидится. Тогда я протяну ему «Письма...».

— Возьмите. Они ваши. Дарю. У меня журнальный вариант есть.

— О! Прекрасно! — обрадованно воскликнет Герасим Гаврилович. — В нашем купил?

— В нашем.

— Вот старая гримза! Я ж у нее десять дней назад был.

— А «Письма...» поступили позавчера. Чаше ходить надо.

— Виноват — исправлюсь. Ну, давай «в дурачка».

И мы будем играть в карты. Сколько конов сыграем, столько раз я и останусь «в дурачках». Знаю это наперед, но сажусь всегда с большой охотой, потому что с Герасимом Гавриловичем играть интересно, забавно.

— Шестерка бубей, черт ее бей?.. А мы ее тихонечко девяткой. Отбой?.. Иду на тебя мальчиком (значит, валетом. У Герасима Гавриловича своя терминология)... Ты бьешь его их величеством (королем, значит) да еще козырным? Богато живешь... Ладно. Вот тебе еще один мальчик-удальчик... Ну, что? Их величества-то больше у тебя нет... О-о-о! Ты выпускаешь на нас девочку (даму)? Тогда дело — дрянь. Только твое, а не наше, потому что у нас тоже есть девочка. Вот она, белобрысенькая... Э-э-э! Стоп! Стоп! Назад пузатого (туза) — не в масть. Туго? То-то. Спасти тебя мог бы только козырный пузатый, а он — у меня. Уж так и быть, отдаю его тебе. Хе-хе! Ду-ра-чок!..

Потом вылезет из своей «командировки» и придет в дом тетя Аня и начнет нас потчевать чаем со свежим земляничным вареньем.

Мы с Герасимом Гавриловичем будем пить чай и вести разговоры про жизнь, потом незаметно перейдем снова к книгам, от них к школьным делам.

— Пищат, — с усмешкой подмигнет мне Герасим Гаврилович и удовлетворенно потрет ладони. — Некоторые — не будем называть имен — пищат. А раз так, то значит Василь Иванов, Василь Петрович, взялся за дело крепко. Мужик он с головой, и знаю — своего добьется. — Герасим Гаврилович испытующе покосится на меня и скажет с откровенной гордостью: — Мой ученик!.. — Помолчав, повторит: — Мой!..

Потом Герасим Гаврилович расскажет что-нибудь о своей далекой и воистину бедной молодости. Как учился портняжному мастерству, как служил в лавке, а в соседней лавке брал книги и журналы, с каким интересом читал их. Вспомнит какой-нибудь занимательный роман

из «Нивы» и начнет рассказывать свежо и ярко, будто только вчера закончил читать его.

И, слушая, я подумаю: а вот чтобы Герасим Гаврилович сбивался с роли, я не видел, не помню. Потому что он играл только самого себя. Притом всего себя, без остатка, и мы ждали не конца, а начала следующего его урока.

Вот о чем я подумаю. А еще я опять вспомню:

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидал зеленый луч...»

И представлю: какой он яркий, пронзительно зеленый этот зеленый луч! Чудно красив! И потому он, наверное, так редок, что красив...

Дальше я буду только слушать Герасима Гавриловича. Он так увлекательно рассказывает. А когда закончит — будет обед. С настойкой, приготовленной доброй тетей Аней. Потом... Еще много чего будет потом. А вот кружков для кадок сегодня у тети Ани не будет. Это уж точно...

Месяц назад, когда я поставил последнюю точку в конце своего повествования, думал ли я, что у него будет этот эпилог. Вчера пришло письмо от тети Ани:

«Спасибо тебе за поздравление с праздником. Спасибо, что и там, далеко, ты не забываешь нас. Только живу я теперь одна. Герасим помер. Двенадцатого числа этого месяца будет полгода. Вот такая тебе новость...»

Значит, когда я писал о Герасиме Гавриловиче как о живом, его уже не было на свете... Хотя как это не было? В памяти-то моей, в сердце он жив и будет жить. Умрем мы вместе. Это уж точно...

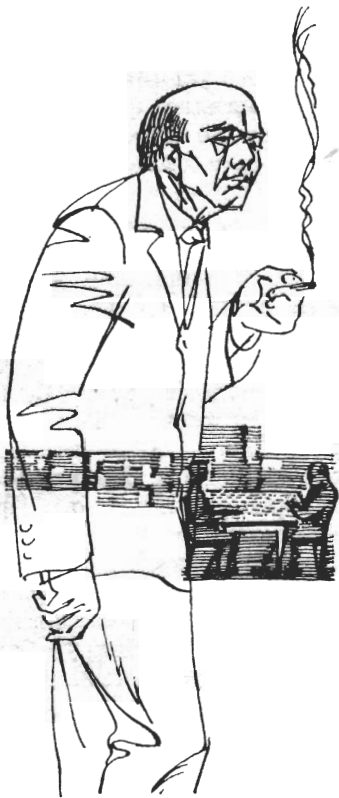
Знаете ли вы, что такое диалектология?

— Не знаем, так сейчас узнаем, — и вы открываете словарь. — Вот написано: «Отдел языковедения, наука, занимающаяся изучением различных наречий и говоров какого-нибудь языка». К примеру, русского. Вот так.

Именно так. А чтобы было понятно всем и каждому, объясним проще, доступнее. Русская диалектология (речь пойдет о русской диалектологии) — это наука, изучающая, где говорят: «говорят», а где — «гаварят», а где — «гаварять», а где — «гувурят», а где — «грят» и так далее и так далее, потому что слово говорят в разных местах (областях, районах и даже в разных селах) говорят по-разному.

Но установит, где как говорят — это только сказать «А». Нужно сказать еще и «Б», то есть объяснить, почему в одном месте говорят так, а в другом — иначе. И диалектология объясняет, почему.

СТРАСТЬ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА



Диалектология, по мнению тех, кто изучал ее, наука непростая. Но если ее сравнивать с другими науками, даже того же языковедческого цикла, скажем, с исторической грамматикой, которую можно смело назвать лингвистической математикой,— то диалектология не так уж и сложна.

Равно как и все науки — и простые, и сложные — диалектология требует, чтобы люди, занимающиеся ею, любили ее. А, известно, где любовь, там и глубокие прочные знания.

Кандидат филологических наук Василий Иванович Панков не просто любил диалектологию. Он обожал ее. Она была смыслом всей его жизни. А потому знал он ее в совершенстве.

Студенты института, в котором он преподавал, и по сию пору, бывает, рассказывают якобы подлинный случай, происшедший в первые годы после войны. На одном крупном заводе разоблачили очень крупного шпиона. Но шпион заперся и доказывал, что он вовсе никакой не шпион, а честный советский гражданин. Что родился и вырос на Орловщине, за границей никогда не бывал и прочее. Те, кто занимается разоблачением шпионов, люди сообразительные и находчивые. Они пригласили Василия Ивановича Панкова и попросили его поговорить со шпионом. Просто так, о чем угодно. Василий Иванович поговорил. Всего каких-то минут пять или десять. И сразу же сделал заключение, что собеседник его никоим образом с Орловщиной связан не был, потому что в его речи абсолютно ничего орловского нет. Зато очень много обнаруживается баварского. А если не баварского, то саксонского. Сказать точно, какого именно, Василий Иванович затруднился, так как он занимался русской диалектологией, а не немецкой. В тот же день, рассказывают, шпион признался, что он действительно шпион.

Что в практике Василия Ивановича такого никогда

не было, сомневаться не надо. Случай этот следует отнести к студенческому фольклору как легенду, сочиненную наивными первокурсниками. Однако сочиненную не на голом месте, а на реальной основе.

Разговаривая с кем-нибудь из студентов, Василий Иванович, бывало, спрашивал что-нибудь вроде:

— Вы когда были в последний раз на своей родине, в селе Беляевке Оханского района Пермской области?

Студент говорил, что в селе Беляевке Оханского района Пермской области он был тогда-то. А у самого от удивления глаза на лоб.

— Вы откуда, Василий Иванович, знаете, что Беляевка — моя родина?

Василий Иванович очень вежливо улыбался — у него была очень вежливая, мягкая улыбка — и говорил:

— Это установить очень просто. До чрезвычайности просто установить...

Взяв для примера несколько слов из речи студента, Василий Иванович указывал на особенности их произношения и заключал, что все это признаки, характерные только для говора села Беляевки Оханского района Пермской области. В соседних с Беляевкой деревнях и селах говорят похоже, но уже не так.

Уроженца села Беляевки и всех, кто присутствовал при его разговоре с диалектологом, такое знание диалектологии восхищало. А что восхищает, то и ложится в основу легенд — закон устного народного (здесь — студенческого) творчества.

Да, о Василии Ивановиче Панкове рассказывали легенды. И уже одно это — признак его незаурядности.

Почти четыре десятка лет диалектология была смыслом жизни Василия Ивановича. И он искренне и страстно хотел, чтобы и для его студентов она стала тем же. Для всех. Или во всяком случае для большинства. Но вопреки желанию Василия Ивановича получалось так, что для большинства студентов его предмет становился

тяжким игом. И лишь только некоторые находили в диалектологии благо.

Как и все одержимые, Василий Иванович был большим педантом. В аудиторию он приходил точно по звонку. Ни на секунду позже. Но и ни на секунду раньше. Ни единого мгновения не теряя попусту, начинал лекцию.

— Продолжим, товарищи,— это он произносил, идя от двери к кафедре.— Тема сегодняшней лекции «Основные черты среднерусских говоров»,— и делал паузу. Небольшую, но вполне достаточную, чтобы студенты успели записать и подчеркнуть тему, а сам он — сесть на стул и, облокотившись на стол, подпереть голову рукой. Будто размышляя вслух, размеренно говорил: — Как уже отмечалось, среднерусские говоры имеют относительно четкие границы распространения. Северная их граница...

И, уже не делая никаких остановок, до самого звонка. Перед Василием Ивановичем не лежало ни тетрадки, ни листков — ничего. Зачем? Ведь он обожал и знал диалектологию. В лекциях его все было предельно четко и ясно. Ни единой лишней или пустой фразы. Никаких отступлений, повторов, вариаций или вольностей. Обнаженная доступная суть — и больше ничего. Ведь на курсе диалектологии, по мнению Василия Ивановича, отводилось такое мизерное количество часов, а сообщить студентам необходимо было так много.

Ровно сорок пять минут Василий Иванович, будто вслух беседуя с самим собой, говорил. Ровно сорок пять минут студенты, не поднимая головы, даже для того, чтобы утереть пот со лба, скрипели перьями, записывая то, что говорил преподаватель.

Звенел звонок. Василий Иванович, не закончив фразы, даже слова не договорив, поднимался.

— Прервемся, товарищи...

Выходил в коридор, останавливался возле подоконника, закуривал «приму». Его окружали студенты, тоже закуривали, кто что имел. Не имеющим ничего Василий Иванович услужливо предлагал свою «приму», подносил огонька. И начиналась беседа. Но, разумеется, не о чем-то постороннем, далеком, а опять же о ней, о диалектологии. Василию Ивановичу задавали вопросы, он с нетерпением и жадностью выслушивал их и тут же с обстоятельной щедростью отвечал.

— Понятно. Интересный вопрос. Поясняю. В речи вашей бабушки, уроженки Ставропольского края, изъясняющейся на украинском языке, замечаются элементы курского наречия по очень простой причине. В пятидесятых годах прошлого столетия черноземное Ставрополье, как и нижнее Поволжье, заселялось украинцами и крепостными крестьянам из центральной России, в том числе и из Курской губернии. Помните рассказ Лескова «Продукт природы»? Он как раз о переселенцах курянах... Произошло смешение языков, украинского и русского. Преобладать стал украинский при сохранении курского наречия. Все просто... Пожалуйста. Теперь слушаю вас... Так. К какому конкретному диалекту относятся слова «балбес», «дрыхнуть», «шляться» и другие, употребляемые в устной речи повсюду, но не входящие в норму литературного языка? Это просторечия, которые надо отличать от диалектизмов. Основной их признак в том как раз и состоит, что они не закреплены ни за какой областью, а представляют собой стилистический слой общенародного языка... Пожалуйста. Что у вас?..

Вопросов задавали много, а перерыв был короткий — всего лишь десятиминутный. И каждую секунду его Василий Иванович использовал тоже разумно, без неоправданного расточительства. Выслушав очередной вопрос, он, бывало, говорил:

— Через две лекции мы будем вести речь о севернорусском цоканье. После этой лекции вам станет все по-

нятно. Так что чуть-чуть обождите. Так. Что-то хотели спросить вы... Прошу прощения — звонок. В другой раз. Непременно...

Диалектология преподавалась на первом курсе. И влюбчивым первокурсникам Василий Иванович виделся человеком очаровательным. Он был сама тактичность, сама вежливость, сама внимательность, сама душевная щедрость. И поэтому с сомнением, даже с открытой враждебностью воспринимали первокурсники слова старшекурсников, произносимые с иронией и самодовольством счастливых, переживших этот этап:

— Вот пойдете ему зачет сдавать.

— Пойдем. Ну и что?

— А то. Ох и просеет же он вас! Его на факультете так и зовут — Решето.

Это была правда. Василия Ивановича Панкова звали на факультете Решетом. И, говорят, пошло это прозвище не от студентов, как чаще всего бывает, а от его, Василия Ивановича, коллег. Говорят, однажды на ученом совете кто-то из преподавателей бросил в лицо Василию Ивановичу запальчиво и резко:

— Вы решето филфака!

— Но разве это так плохо? — чуть-чуть удивившись, но ничуть не возмущившись, говорят, спросил Василий Иванович.

— Так просевать, как просеваете вы, — плохо!

Василий Иванович только пожал плечами, как бы в некоторой мере соглашаясь, что просевать так, как он, может, и действительно нехорошо, но как, извините, быть иначе? Иначе же невозможно...

Пророческие намеки старшекурсников, к сожалению, сбывались.

Принимать зачет Василий Иванович, как человек до чрезвычайности пунктуальный, начинал ровно в назначенное время — в восемь утра. А заканчивал в двенадцать. Бывало, что в два часа. Бывало, даже в три. Нет,

не дня. Ночи, разумеется. И опять же потому (и тут нет никакого парадокса), что он был человеком до чрезвычайности пунктуальным. Ведь с чрезвычайной пунктуальностью одержимых всегда идут под руку чрезвычайная требовательность и чрезвычайная дотошность.

Василий Иванович приглашал в аудиторию первую пятерку студентов, просил положить на его стол все, что у них было с собой — сумки, конспекты, учебники, — просил садиться только за первые столы, на которых уже лежали чистые листы бумаги. Потом каждого поочередно просил записать вопрос. Наставлял:

— Готовьтесь. И, пожалуйста, не спешите. Все хорошенько обдумайте, взвесьте. Прошу вас...

Студенты обдумывали и взвешивали свои ответы, а Василий Иванович зорко, хотя и с простодушным видом, наблюдал за ними и одну за другой курил сигареты «прима».

Курить, убеждают нас медики, вредно. Можно нажить рак или какую-нибудь другую болезнь. Больным же вредно курить вдвойне, втройне... Василий Иванович Панков был болен. Он уже много лет страдал открытой формой туберкулеза, который состарил его раньше времени. Василию Ивановичу не было еще и шестидесяти, а выглядел он глубоким старцем, сухим и бледным.

Коллеги, жалея его, говорили:

— Василий Иванович, вам непременно надо лечь в больницу.

— Да, да, — соглашался Василий Иванович. — Нужно подлечиться. Обязательно. Только вот как быть с диалектологией? Лекции, контрольные работы заочников, зачеты, приближается зональная конференция языковедов, на которой запланировано мое выступление. А там уже ехать со студентами в экспедицию. Да и потом я же работаю над докторской диссертацией... А заметили вы совершенно справедливо. Подлечиться надо... Желательно бы. Но вот как быть с диалектологией?..

Уговаривать Василия Ивановича было все равно что вилами воду черпать, и его не уговаривали. Только советовали:

— Тогда уж берегите себя. Получше и вовремя кушайте. Почаще гуляйте на свежем воздухе. И обязательно бросьте курить. Табак вас погубит. Бросьте немедленно.

— Да, да,— соглашался Василий Иванович.— Курить надо как можно меньше. Желательно вообще не курить. Вы верно заметили,— бросал в пепельницу догоревшую до самых пальцев сигарету и доставал новую.— Лучше, конечно, вообще...

— Вот и бросайте. Сейчас же,— говорили коллеги. Но знали, что сам Василий Иванович никогда не бросит, и отнимали у него — как правило делали это женщины — сигареты и спички. Василий Иванович не протестовал.

Однако, побуждаемые добрыми чувствами и намерениями коллеги, наизусть знавшие характер Василия Ивановича, упускали из виду, что когда человеку что-то запрещается, ему хочется запретного еще больше. Курить Василию Ивановичу хотелось еще нестерпимее. Он вкрадчиво просил сигаретку у преподавателей-мужчин. Ему отказывали. Тогда просил у студентов. Студенты знали, что Василию Ивановичу курить нельзя, но знали, как хочется курить, когда закурить нечего, и давали ему сигарету с той же услужливостью, с какой, бывало, давал им он. Василий Иванович прятался под лестницей первого этажа и, озираясь как пятиклассник, жадно курил. Считая, что это его компрометирует как преподавателя, коллеги переставали отнимать у него сигареты и спички...

Курить во время зачета для Василия Ивановича было все равно что дышать. Никаких других потребностей он не испытывал. Ему не хотелось ни есть, ни пить... Ничего ему не хотелось. Он курил и дышал. Курил и дышал... отравленным дымом воздухом. И внимательно,

терпеливо выслушивал ответы студентов. Перебивал только в тех случаях, если студент излагал мысли нечетко, сумбурно. Но такое бывало редко. Старшекурсникам все-таки удавалось ко времени зачета вдолбить в головы наивных первокурсников, что обаятельный диалектолог очень прилично решетит.

Когда студент умолкал, давая тем самым понять преподавателю, что он сказал все, что имел сказать, Василий Иванович произносил:

— Хорошо.

Произносил инертно, бесцветно и в любом случае. Даже если студент отвечал не хорошо, а в лучшем случае удовлетворительно, или напротив — не хорошо, а отлично, блестяще.

— Хорошо,— повторял диалектолог и просил: — Запишите-ка такой вопросик...

Эта просьба ничуть не зависела от того, как отвечал студент — неудовлетворительно, хорошо или отлично,— дополнительные вопросы, по характеру и объему равные основному, получали все без исключения. И впридачу то же благожелательное, заботливое наставление:

— Только, пожалуйста, не спешите. Все хорошенько обдумайте, взвесьте...

И обращался к очередному студенту:

— Теперь послушаем вас. Вы готовы?..

Очередной отвечал, умолкал, Василий Иванович говорил «хорошо», просил записать дополнительный вопросик, наставлял: «Пожалуйста, не спешите. Все хорошенько обдумайте, взвесьте»,— и призывал к ответу следующего. И таким образом три-четыре раза каждого. Каждый студент получал кроме основного три-четыре дополнительных вопросика равных трем-четырем основным. А в результате всего трем-четырем — чаще четырем — из пяти человек Василий Иванович говорил:

— Хорошо... Знаете, я прошу вас: поготовьтесь еще. И тогда приходите — побеседуем...

А пятому, прежде чем расписаться в зачетной книжке, задавал свой последний неперемный вопрос:

— Скажите, вы с моей кандидатской диссертацией знакомы?

— Нет,— блекло отвечал пятый, обмирая от страха.

— Хорошо... Я вам ставлю «зачтено», но рекомендую настоятельно: познакомьтесь с моей кандидатской диссертацией. Она в читальном зале есть. Вы мне обещаете?

Ну скажите, кто чего не пообещает, когда преподаватель уже держит ручку, чтобы поставить зачет, но еще не поставил его?

— Конечно! Сегодня же! Сейчас же!..

— Хорошо...— и еще чуть поколебавшись, Василий Иванович писал в соответствующей графе зачетной книжки «зачтено» и ставил подпись.— А мою кандидатскую диссертацию посмотрите, пожалуйста...

— Конечно,— обещал студент, принимая из рук Василия Ивановича зачетную книжку.— Сегодня же...

Ну скажите, кто не позабудет об этом обещании в тот же миг, как выйдет в коридор и спрячет в карман зачетную книжку с заветным зачетом? Да нет таких! А если бы они были, то выглядели бы очень смешными. Вот если бы от выполнения данного обещания зависело получение зачета, тогда было бы другое дело...

А между прочим, в первое время, как только Василий Иванович Панков защитился и получил ученую степень кандидата филологических наук, так оно и было.

— Скажите, а с моей кандидатской диссертацией вы знакомы? — задавал Василий Иванович пятому из пяти свой последний неперемный вопрос.

— Нет,— обмирал от страха пятый.

— Хорошо,— говорил Василий Иванович.— Я вам рекомендую: ступайте, познакомьтесь с моей диссертацией и приходите. Мы с вами побеседуем...

Да, да. Так и было.

Студенты, известно, народ дошлый. Некоторые пятые

шли на уловку и на последний вопрос диалектолога вместо «нет» бодро и уверенно отвечали «да».

— Хорошо,— говорил Василий Иванович и сиял от удовольствия.

— И как вы ее находите? — и тут же задавал вопросы, на которые можно было ответить, только будучи знакомым с диссертацией.

Получались заминки, маленькие конфузы. Нужно ли говорить, что в конце таких неполучившихся бесед Василий Иванович рекомендовал:

— Ступайте, познакомьтесь с моей диссертацией и приходите...

Студенты спускались на первый этаж, в читальный зал. Некоторые же, главным образом заочники — люди бывалые, кое-что уже испытывшие и повидавшие на своем веку — напротив, поднимались на третий этаж и резко открывали дверь кабинета декана, или «отца» — проректора по заочному обучению, или даже самого ректора...

На одном из ученых советов всеми уважаемому Василию Ивановичу Панкову настоятельно рекомендовали впредь не рекомендовать студентам знакомиться с его диссертацией и получение зачета по диалектологии не ставить в зависимость от этого знакомства. Василий Иванович не соглашался. Упорно стоя на своем, он убеждал коллег, что в его диссертации приводятся любопытнейшие для науки факты, не знать которых студентам просто нельзя. Его с таким же упорством убеждали, что он занимается саморекламой, а это не совсем тактично. Что же касается «любопытнейших фактов», то против них никто ничего не имеет, но в министерской программе его труд никак не фигурирует, и, значит, Василия Ивановича Панкова никто укорять не будет, если его студенты не будут знать «любопытнейших фактов» из его диссертации. Если же кто проявит к ним добровольный интерес, то, как говорится, дай бог. Но, подчеркивали, интерес должен быть добровольным. Василий Иванович

на это возражал... Ему возражали... Он снова возражал... Ему опять же возражали...

Наконец, дебаты кончились компромиссом. Василию Ивановичу позволялось рекомендовать студентам знакомиться с его диссертацией, но зачеты ставить до этого знакомства. Коллеги сочли бесполезным вообще запрещать ему рекомендовать знакомиться с его диссертацией, потому что он все равно рекомендовал бы.

Далее на этом же ученом совете Василию Ивановичу рекомендовали заканчивать прием зачетов пораньше. Не ночью, а еще засветло. При его состоянии здоровья недопустимо уходить из института на рассвете. Да и вообще это ненормально...

— Но как! Как раньше?! — воскликнул Василий Иванович с присущим ему простодушием.

Коллеги указали Василию Ивановичу реальный путь: не требовать от студентов таких же знаний диалектологии, какими обладает он сам, кандидат филологических наук. Со студентов пока достаточно того, что предусмотрено программой. А чтобы выяснить, как они усвоили программный материал, достаточно побеседовать с каждым двадцать, от силы тридцать минут.

— Нет! Это невозможно! — воскликнул Василий Иванович.

— Это и возможно, и нужно, — возразили ему. — На филфаке большой отсев, и в основном из-за диалектологии.

— Но разве виноват в этом я? — наивно спросил Василий Иванович.

Эта наивность привела в раздражение одного коллегу, который и бросил запальчиво и резко:

— Вы виноваты! Вы решето филфака!..

На что, как мы уже знаем, Василий Иванович сказал чуть-чуть удивившись, но ничуть не возмущившись:

— Но разве это так плохо?

Ему ответили:

— Так просевать, как просеиваете вы,— плохо!

И привели цифры. Сухие, но очень красноречивые и убедительные, как все цифры. Против них всегда трудно что-либо возразить. Василий Иванович возражать не стал, согласился. И вообще он на том ученом совете со многим согласился из того, что ему говорили коллеги.

Только вот мало что в нем переменилось. Да и как могло перемениться?

Природа человека такова, что если он чем-то страстно увлечен, то хочет, чтобы и все отдалось той же страсти. Ревнивый болельщик желал бы, чтобы все обезумели от хоккея и кричали: «Шайбу! Шайбу!» Филателист мечтает о времени, когда все будут бредить марками и во сне и наяву. Поклоннику Солоухина грезится, что все сплошь читают только «Владимирские проселки» и «Третью охоту». Турист убеждает всех, что человек, не бывавший в походе, не может себя считать полноценным человеком... И так все увлеченные, влюбленные, одержимые. А коль так, то почему Василий Иванович Панков, одержимый диалектологией, преданный ей, как Тристан Изольде, должен был стать исключением и перестать хотеть, чтобы все студенты были преданы его науке так же, как он сам? Нет, он не мог перестать хотеть этого. Он любил свою науку.

А любовь — всегда подвиг. А подвиг достоин награды.

Заметив, что кто-то из студентов проявляет к диалектологии повышенный интерес и обладает способностями к этой науке, Василий Иванович сиял от восторга, его бледное болезненное лицо молодедело.

— У вас замечательное чувство языка! Это самое главное! — с пафосом говорил он студенту. — Я рекомендую вам заняться диалектологией всерьез. У вас получится! Непременно! Да! Не желаете ли вы летом поехать с нами в экспедицию?..

Ежегодно во время летних каникул группа одаренных студентов во главе с Василием Ивановичем отправ-

лялась в экспедицию по описанию местных говоров Южной Сибири и привозила богатый материал, представлявший несомненный научный интерес. По этому материалу студенты готовили доклады к научным студенческим конференциям, доклады печатались в коллективных институтских сборниках, а иногда статейки и короткие сообщения студентов публиковались даже в центральных научных журналах. Для некоторых питомцев Василия Ивановича диалектология становилась тоже делом всей их жизни.

Студенты-заочники в межсессионный период должны были выполнить контрольную работу. Министерские темы контрольных работ Василий Иванович отверг как несерьезные и, значит, никуда не годные и разработал свое, уникальное по своей универсальности задание: «Описание местного говора». Чтобы выполнить это задание, студент-заочник, волей или неволей должен был вначале проштудировать не больше, но и не меньше, чем весь курс вузовской диалектологии. А поскольку студент-заочник всегда может проштудировать меньше, чем курс, то с зачетом контрольных работ дело обстояло еще хуже, чем со сдачей самого зачета. На девять из десяти работ Василий Иванович писал уничтожающие рецензии, а одну зачитывал. И то с великой болью в сердце — до того они были примитивны и беспомощны. Но однажды...

Вот какую рецензию написал однажды Василий Иванович на контрольную работу одного заочника:

«Дорогой товарищ Семенов Г. А.!

Не могу сдержаться: я просто восхищен Вашей работой!

Произведенные Вами записи убеждают, что Вы обладаете отличным чувством языка, таким же отличным слухом и емкой памятью. Ошибок в пользовании транскрипцией я не заметил. Верно подмече-

ны, за исключением, может, одного-двух сомнительных случаев, дифтонги. Разбор текста произведен в полном соответствии с заданием, с соблюдением всех правил и условий. Разбор этот убеждает, что с курсом русской диалектологии Вы освоились великолепно. Я счастлив за Вас! Хочется пожать Вашу руку и сказать Вам: «Молодец!» До встречи в институте.

В. Панков».

Настала летняя сессия, и они встретились. Заочник Семенов пришел со своей группой сдавать зачет по диалектологии и волновался и переживал не меньше других. Когда он вошел в аудиторию и подал Василию Ивановичу рецензию (без положительной рецензии на контрольную работу заочники к сдаче зачета, как и положено, не допускались), Василий Иванович пробежал ее, лицо его озарилось восторженной улыбкой.

— Так это вы?! Рад! Очень рад вас видеть! — встал и крепко пожал руку Семенова. — Отличная работа! Просто отличная!.. Кстати, ваши имя и отчество?

— Геннадий Александрович.

— Знаете, Геннадий Александрович, я думал о вас... Я рекомендую вам заняться диалектологией всерьез. У вас получится. Я в этом ничуть не сомневаюсь. Если желаете, то продолжим наш разговор позже. Завтра, если хотите.

Семенов сказал, что согласен встретиться завтра.

— Ну и отлично! А сейчас давайте вашу зачетную книжку. Я ставлю вам «зачтено», — Василий Иванович взял ручку, перо уже ткнулось было в графу, чтобы начертать «зачтено», как вдруг рука диалектолога дрогнула, перо приподнялось. Да, оно должно было приподняться, потому что его держал Василий Иванович Панков, который всегда и во всем оставался Василием Ива-

новичем Панковым.— Геннадий Александрович, я хочу вам предложить один небольшой вопросик...

И Василий Иванович задал Семенову вопрос и тут же получил на него исчерпывающий ответ.

— Хорошо,— сказал Василий Иванович.— И еще один, последний вопрос: вы смотрели мою кандидатскую диссертацию? Она в читальном зале есть.

— Я не смотрел ее, Василий Иванович. Я изучал ее.

Василий Иванович засиял, как первоклассник, получивший первую «пятерку».

— И как вы ее находите?

Семенов сказал, как он ее находит, и при этом привел несколько цитат из диссертации Панкова.

Василий Иванович смотрел на заочника очарованным взглядом странника, увидевшего восьмое чудо света.

— Спасибо! Спасибо! — и голос Василия Ивановича дрогнул.

Вот она награда за подвиг, имя которому — любовь. Некоторое время Василий Иванович не мог от волнения вымолвить ни слова. Мало-помалу пришел в себя и сказал:

— А сейчас я работаю над докторской диссертацией. Работа продвигается хорошо. Я доволен. И вами очень доволен...

Василий Иванович с удовольствием поставил Семенову зачет, и на этом они расстались. А на другой день встретились вновь и долго беседовали как две родственные души.

Институт заочник Семенов окончил досрочно, за четыре года. Все науки он изучал с большим интересом, но сердце его уже принадлежало диалектологии. После сдачи государственных экзаменов его пригласили работать в институт ассистентом на кафедру русского языка. Приглашение он принял и сразу же взялся за работу над диссертацией, тему которой выбрал не без участия Василия Ивановича Панкова. А примерно через полгода

Геннадий Александрович Семенов уже преподавал диалектологию. Вместо Василия Ивановича. С которым произошла трагедия.

Но вначале была драма...

Зачет. Экзамен. Чтобы сдать их, студент жертвует многим: сном, прогулками, развлечениями, разными удовольствиями, порой даже ленью. Это хороший студент. Другой студент, чтобы получить заветную «удочку» или зачет, идет на многое, на все идет: на грубость, чаще на лесть, на обман, на задабривание, на разные уловки. И у него часто получается. Но это плохой студент.

Хороших студентов Василий Иванович уважал. Плохих просто не замечал. Вот с ним-то у плохих студентов никогда не получалось. Хотя диалектолог встречался и беседовал с ними, как и со всеми, когда угодно и где угодно. Случалось, что и у себя дома. Домой к Василию Ивановичу плохой студент особенно любил заглянуть, рассчитывая по своей наивности и недалекости, что дома Василий Иванович уже не Василий Иванович, и получить желаемое будет гораздо проще. Диалектолог впускал плохого студента в свой кабинет, усаживал за стол и перво-наперво угощал сладким чаем с печеньем. Обязательно. Он хорошо помнил годы своего ученья в Томском университете и знал, что значит для студента сладкий чай. Да еще с печеньем. Попотчевав плохого студента, Василий Иванович на место стакана с блюдцем клал листки чистой бумаги, забирал у студента «все лишнее» и просил записать вопрос... Что и как было дальше, пожалуй, рассказывать нет смысла. Все было так, как если бы это было в институтской аудитории.

Везде и всюду Василий Иванович оставался самим собой. Он требовал от студентов — и хороших, и плохих — очень, как ему казалось, немного — знаний, глубоких, прочных, безукоризненных. Больше ничего.

Однажды, закончив прием зачета в группе стационара, Василий Иванович, будучи человеком аккуратным,

любящим везде и во всем порядок, стал убирать со столов бумаги и обнаружил среди них шпаргалку, написанную меленьким почерком на узкой полоске тетрадного листа. Машинально сунул руку в стол и извлек из него еще несколько точно таких же шпаргалок. Василий Иванович расстроился так, что его стало лихорадить. Кто-то обманул его. Возможно, один из тех семи студентов, кому он сегодня поставил зачеты. Ужас! Возможно, он поставил зачет студенту, который что-то списал и, значит, чего-то не знает! Что теперь делать? Ну, разумеется, прежде всего как можно быстрее уничтожить эту пакость — узкие полоски бумаги, исписанные мелким убогим почерком. Василий Иванович брезгливо порвал шпаргалки на какие только мог мелкие кусочки и хотел выбросить их в мусорницу. Но передумал. Завернул в газету, положил в портфель и вышел из института. Взойдя на мост через небольшую речку, протекающую по городу, достал сверток, чтобы бросить его в воду. Но опять передумал. Спустился под мост и там сжег свертки. Дождавшись, когда он сторел дотла, тщательно растоптал пепел, получившуюся черную пыль спихнул ногой в реку. Когда убедился, что течение подхватило ее, поднялся наверх и пошел домой. Было уже совсем светло.

Несколько часов Василий Иванович провел в мучительных переживаниях. Ходил по своему кабинету и курил, курил... Едва дождавшись нового рабочего дня, отправился в институт. Зашел к заведующему кафедрой и заявил, что все студенты, кому он вчера поставил зачеты, будут сдавать диалектологию вновь.

— Почему? — удивился заведующий кафедрой.

— Кто-то из них... вы представить себе не можете... — в горле Василия Ивановича стал ком.

— Что? — встревожился завкафедрой.

— Кто-то пользовался шпаргалкой. Я обнаружил шпаргалки...

— Но, Василий Иванович, нельзя же из-за одного нечестного студента переэкзаменовывать всех.

— Я настаиваю.

— Я не позволю.

— Тогда я иду к декану.

С деканом у Василия Ивановича произошел точно такой же диалог, как и с заведующим кафедрой.

— Тогда я пойду к ректору.

Еще раз повторился тот же диалог в кабинете ректора. Идти больше было некуда. И Василий Иванович сказал:

— Я буду писать в министерство...

— Министерство тоже не разрешит,— сказал ректор.

«Не разрешит»,— мысленно согласился Василий Иванович.

Он почувствовал себя очень плохо. И наверняка слег бы, если бы не сознание того, что у него уйма разных дел, которых некому перепоручить, что нужно заканчивать докторскую диссертацию. И он устоял.

А буквально через несколько дней произошел трагический случай.

В другой группе стационара Василий Иванович закончил прием зачета, как обычно, поздно ночью и возвращался домой. В подъезде его ослепили ярким лучиком карманного фонарика, сказали:

— Тихо, товарищ Решето. Ни звука. Но три автографа.

И перед глазами Василия Ивановича возникли три раскрытые на нужной странице зачетные книжки. Василий Иванович не испугался. Он возмутился.

— Что за безобразие?! — и хотел прочесть, кому принадлежат зачетные книжки, но негодяи предусмотрительно держали их как раз за те места, где были написаны фамилии.

— Три автографа.

— Подите прочь!

— Три автографа — и ауфвидерзеен. Ну!

— Никаких автографов! Я позову милицию.

— Милиция не успеет. А вы не успеете дописать свою докторскую диссертацию. Не испытывайте судьбу. Три автографа и ступайте к своей диссертации.

Вот теперь Василий Иванович почувствовал страх. Его докторская! Сколько ценнейших для науки фактов! Сколько лет! Остались последние страницы!.. А эти негодяи, видно, не шутят...

— Вот ручка...

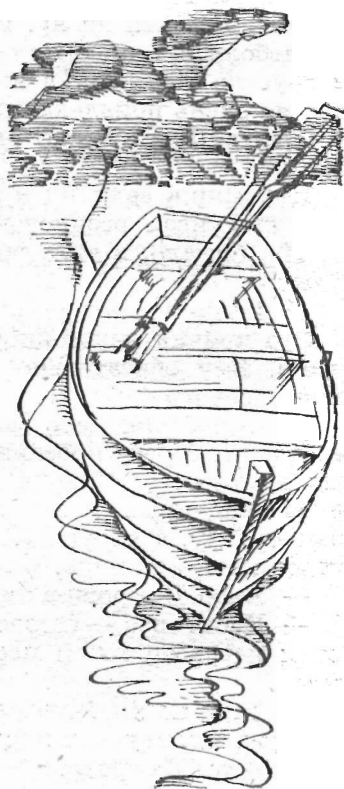
Василий Иванович уловил запах перегара, ему сделалось еще страшней, и он взял ручку...

Войдя в квартиру, он снял трубку телефона. Набрать успел только «ноль». Вторую цифру, но не «двойку», как хотел Василий Иванович, а «тройку», добрал уже его сын...

Через два месяца он умер на больничной койке с последними страницами докторской диссертации на груди.

Село было большое, районный центр. На две почти равные части его разрезала река. Тоже большая. Правда, не настолько уж большая, чтобы по ней плавали пароходы и бежали катера, но и не такая уж маленькая, чтобы перейти ее вброд. Моста через реку в селе не было. С одного берега на другой люди переправлялись на пароме. Паром был старый, ленивый, жалобно-скрипучий. Управлял паромом человек, возраст которого определить было сложно. Иногда он казался молодым и даже привлекательным. Это если побреется. А брился он только по трезвости. Трезвым же его видели редко. Обычно хоть под маленьким, но хмельком. И его обветренное лицо золотилось щетинкой, а с похмелья оно вдобавок было дремучим и хмурым. Понятно, что ни щетинка, ни хмурость человека не молодят.

Звали паромщика Иваном Петровичем Болтиным. Однако по имени и отчеству к нему обращались то-



же редко. Но это уже зависело не от того, пьян он бывал или трезв, а от иных обстоятельств. Когда этих обстоятельств не было, его звали и в глаза, и за глаза Шалтаем-Болтаем. Или короче: просто Шалтаем. Другие — просто Болтаем. Кому как больше нравилось. Самому же паромщику было все равно, кто его как называет.

К ночи, когда село, будто уставшее за день, притихало, Шалтай-Болтай причаливал паром к левому берегу и поднимался на яр. На яру стояла рубленая избушка, небольшая, неказистая, покосившаяся набок. Окна ее грустно смотрели в воду, будто разглядывали в ней свое не очень привлекательное отражение. В этой избушке Шалтай-Болтай жил вдвоем с женой. Детей у них не было.

Паромщик заходил в избушку, вешал на гвоздь пиджак, стаскивал резиновые сапоги, присаживался к столу. Но, бывало, в этот самый момент доносилось сквозь худые оконца:

— Иван Пет-ро-ви-и-ич!.. Пе-ре-ве-зи-и-и-и...

Это кричал какой-нибудь запоздалый человек с того берега. Ему обязательно надо переправиться. А паромщику переправлять всех запоздавших совсем не обязательно — рабочий день закончился. Вот и забывал человек на том берегу прозвище паромщика и вспоминал его имя и отчество. И хотя все знали, что Шалтай-Болтай не из обидчивых, все равно навеличивали Иваном Петровичем. Ну, а вдруг возьмет да и обидится. А переправиться край как надо.

— Иван Пет-рови-и-ич! Будь до-о-обр!..

— Носит вас, — беззлобно ворчал Шалтай-Болтай. — Вот и перевози их, и перевози. Когда только все переедете...

Ни разу не хлебнув из чашки, он клал на стол ложку, обувался, надевал пиджак, спускался с яра.

— Иван Пет-ро-ви-и-ич!..

— И что без толку кричать-то, — говорил Шалтай-

Болтай с пьяной невнятностью и негромко, как если бы вызывающий был не на том берегу, а здесь, рядом с ним. Отцеплял от парома одну из двух лодок, гремел цепью. На том берегу становилось тихо.

Забравшись в лодку, пассажир уже твердо знал, что вылезет он из нее на другом берегу. Имя и отчество паромщика мгновенно забывалось.

— Ну, что, Шалтай, накалымил-то за день много? — интересовался пассажир.

— Да скалымил, — неопределенно отвечал паромщик.

— А сколько пропил?

— А все и пропил. Чего мне. Как пришло, так и ушло, — загребая веслом, легонько смеялся.

Когда лодка тыкалась носом в берег, для иных пассажиров не только имя, но и сам паромщик уже не существовал. Выпрыгивали из лодки и, шурша галькой, быстро скрывались в сумерках.

— Ладно. Чего там... — говорил им вслед Шалтай-Болтай.

Иные благодарили:

— Спасибо, Болтай. Выручил. Ну, пока.

— Да ладно. Чего там, — отвечал паромщик.

Иные же протягивали плату:

— На-ка, вот, возьми...

Шалтай-Болтай принимал монету и, даже не взглянув на нее, опускал в карман пиджака и уж потом говорил:

— Да ладно. Чего там...

— Ты не спорь, не спорь, — возражал щедрый пассажир, поднимая этим самым цену своей щедрости, и любопытствовал: — А дома-то, за печкой, поди, чулочек есть? А?

— Дома, брат, у меня только Ведьма. Ничего, кроме Ведьмы, — и опять легонько смеялся.

Отвечая так, Шалтай-Болтай говорил почти истину.

В избушке у него был расшатанный дощатый стол, две, тоже расшатанные, табуретки, койка да Ведьма. Так он называл свою жену. Так называли ее все. И другое прозвище ей вряд ли бы и подошло. Высокая, поджарая, в замызганном платье, с распущенными, кто знает, когда чесаными, волосами с частыми прожилками седины, громкоголосая и злая — она по всем статьям походила на ведьму. Не выбирая ни места, ни времени, ни слов, бранила мужа, по всяким пустякам бранилась с соседками, бранилась в очереди за хлебом, бранилась на телят и поросят, которые лежали в тени чужой ограды, бранилась на пробегающую вдаль собаку. И, конечно, бранилась бы на родных детей, если бы они были. А, впрочем, кто знает, может, именно из-за бездетности Ведьма была ведьмой, а муж ее пьяницей...

В село они приехали весной. Когда Шалтай-Болтай привез на телеге нехитрые пожитки и Ведьму в казенную избушку на яру, Ведьма оглядела новое жилище и напустилась на мужа:

— Эт ты куды ж меня привез, проклятуций?! Куды, спрашиваю, привез?! Да ты хоть ее смотрел ли, нечистая твоя сила?! Смотрел, чтоб твои глаза полопались, сатанюга?! Как в ней жить?! Жить-то как?! Она ж валится! Завтра в речку упадет! Ни кола, ни двора, чтоб тебе сквозь землю провалиться, захлебнуться бы тебе! Как жить-то в ней?!

— Ну, ладно. Чего там, — смиренно сказал Иван Петрович и, зевнув, почесал пятерней лопатку.

Ведьму это доконало. Не столько слова, сколько зевки и почесывание. Выходило, что муж не только не чувствует за собой никакой вины, но и насмеяется над ней, ни во что ее как хозяйку не ставит. А какой жене такое понравится?

— Ах ты, улитка склизкая! Ах паразит, ворона немытая! — и, подобрав одиноко валявшееся у порога плечико, Ведьма ринулась на мужа.

Иван Петрович отступил шаг назад и сказал все так же смиренно, невозмутимо:

— Ладно. Уймись. Вон люди смотрят...

Поодаль от избушки действительно собралась кучка любопытных. Соседи и прохожие.

— Что мне люди, паразит, что мне твои люди! Я украла чего-нибудь, чтоб людей стыдиться? Вот их заселить сюда, пусть бы пожили,— и повернулась к любопытным: — Чего вылупились-то, как коровы на церкву?! Интересно?! Шибко интересно! Как же! Постановка бесплатная! А ну, ступайте отсюда!.. — и Ведьма понужнула матом.

Некоторые, кто посовестливее, отделились от кучки, другие продолжали стоять.

— Откуда они такие, распотешные? — спросили у бабки Афониной, дом которой был ближе всех к паромщицкой избушке.

Бабка ответила, сильно шепелявя:

— Шама не жнаю. Ш Алтая, што ли, говорят. Ш Алтая вроде. Не жнаю.

Все дружно засмеялись и тут же нарекли нового паромщика Шалтаем. А потом, когда узнали фамилию, к Шалтай стали добавлять еще и Болтай. И получилось лучше не надо — Шалтай-Болтай.

Едва рассветало, Шалтай-Болтай был уже на пароме. Хмурый, помятый, неуклюжий, он принимался за работу. С берега на берег переправлял машины, трактора, мотоциклы, конные повозки, пешеходов. На груди его висела кирзовая сумка. Из нее розовыми язычками высывались кончики билетных лент.

Загрузив паром и отчалив его от припаромка, Шалтай-Болтай принимался собирать плату за переезд. Принимал деньги, аккуратно отсчитывал сдачу, так же ак-

куратно отрывал сколько кому положено билеты. Иной пассажир, отдав деньги, от билета отмахивался:

— Ладно, Шалтай, мне перед тещей не отчитываться.

— Ладно, так ладно. Чего там,— соглашался паромщик и продавал сэкономленный билет следующему пассажиру. Но, бывало, что и следующий из солидарности с первым тоже отказывался от ненужного ему клочка розовой ленты. Шалтай-Болтай приходил в некоторую растерянность:

— Так это... Как же...

— Да не надо, говорю...

— Ну, ладно... Чего там,— пожав плечами, Шалтай-Болтай подходил к третьему пассажиру. Бывало, что и третий из солидарности с двумя первыми тоже отказывался от билета. Паромщик поднимал на него вроде как испуганные и в то же время строгие глаза:

— Нельзя, нельзя! Не положено! Бери! — совал в ладонь пассажира билет и спрашивал: — Время есть?

— Восемь пятнадцать.

Шалтай-Болтай недовольно морщился, произносил со сдержанным укором, будто скорость течения времени зависела от пассажира:

— Ладно. Чего там...

Кое-как дождавшись девяти, Шалтай-Болтай на правом берегу сходил с парома, поднимался к магазину и юркал в его только что открывшуюся дверь. Через некоторое время возвращался. Уже не такой хмурый и более расторопный...

С рассвета до заката паром, поскрипывая на все лады, ходил от одного берега к другому. Шалтай-Болтай работал и время от времени поднимался на правом берегу в магазин. А на левой стороне время от времени спускалась от избушки Ведьма. Подлетала к мужу:

— Уже! Уже нажрался, битюрина! Чтоб ты захлебнулся! Чтоб она у тебя колом в глотке стала! Распосты-

лый! — и выгребала из сумки покорного мужа деньги, обшаривала карманы пиджака и штанов.

Никто из пассажиров не удивлялся этому. Все знали Ведьму, и ее действия принимались как должные. Удивлялись, а порой даже возмущались только городские люди. Пытались сделать замечание Ведьме:

— Что же это вы, гражданка, так...

— Как?! — оборачивалась на голос Ведьма. И фраза горожанина — чаще всего горожанки — оставалась незаконченной. На его или ее бедную голову из уст Ведьмы выливался обильный поток отборной брани... Сойдя на берег, Ведьма то и дело оборачивалась и пуляла отдельными круглыми словечками, от которых лицо городского человека, будь то мужчина или женщина, рдело от стыда и неловкости...

В теплые солнечные дни паром облепляли мальчишки. Они ныряли в воду с кормы карбасов, а те, что поточайнее — с крыши будки. Забирались в привязанные к парому лодки, раскачивались в них, плескались в скопившейся в лодках воде, почти горячей, пахнущей смолой. Ребятишки галдели, путались под ногами у пассажиров и паромщика. Шалтай-Болтай не прогонял их, не кричал. Только если они увлекались уж чересчур, говорил строго:

— Ах, короеды! Поколочу я вас, однако!..

Мальчишки знали, что паромщик только грозитя поколотить, но никогда не поколотит — он добрый. Из уважения к нему остепенялись, умеривали свой пыл. Даже одергивали друг друга:

— Ну куда багор потащил? Сейчас Шалтай придет за ним...

Или:

— Пацаны, не лезьте к веслу. Шалтай опять станет ругаться.

Шалтай-Болтай, будто не замечавший мальчишек, замечал их уважительное отношение к себе и платил тоже уважением — прощал короедам некоторые шалости.

В тот день три закадычных друга Степка, Юрка и Васька пропадали на реке с самого утра. Рыбачили, купались, загорали, катались в лодке, таскавшейся за паромом. Хорошо было кататься в лодке, но было бы куда лучше, если бы она не была привязана. Бери весло и плыви, куда хочешь. Скажем, за поворот, к скале. Со скалы нырять — это не то, что с парома.

— Может, спросим у Шалтая? Даст, поди, — подал мысль Васька.

— Точно! Даст! — подхватил Юрка.

Степка в общем-то тоже верил, что Шалтай даст лодку. И все-таки это ведь была лодка, а не там что-нибудь, и он на всякий случай допускал другой, нежелательный вариант.

— А если не даст? Тогда?..

— Да ты чё? Даст! — в один голос заверили Васька и Юрка.

— Ну, а вдруг возьмет и не даст? Тогда?.. Нет — вдруг? А?

— Тогда не поедем, — сказал Юрка пресно. Он был среди троих самый младший и самый простодушный.

Степка же был самый старший, самый рассудительный и немножко с хитрецей. Он съязвил:

— Можно и не спрашивать — тоже не поедем, — и, сделав паузу, подмигнул друзьям: — А можно и не спрашивать, а все равно — поедем.

— Как? — спросил простодушный Юрка.

— А очень просто, — Степка поманил к себе пальцем Юрку с Васькой и что-то зашептал им. — Ну, как?

— Можно, — согласился Васька.

— Попадет, — боязливо прошептал Юрка.

— Тогда все — не поедем, — рассчитав, Степка сказал

это немножко капризно и немножко с напускным равнодушием.

Расчет его оказался верным.

— Ладно. Давайте,— вздохнув, согласился Юрка.

Трое маленьких заговорщиков сгрудились на корме и стали ждать. Ждали совсем недолго. Причалив паром к правому берегу, Шалтай-Болтай в очередной раз пошел в магазин. И как только он скрылся за дверью, Степка подмигнул друзьям и деловито, с хозяйской уверенностью — чтобы ни в ком из пассажиров не вызвать подозрения — снял цепь с крюка и бросил ее в лодку. Васька с таким же видом хозяина развернул веслом лодку по течению. А Юрка, как и условились, «вассерил» — не спускал глаз с двери магазина.

— Шибче, шибче гребите,— поторапливал Степка Ваську.— Нам бы только за поворот,— взял шест и тоже стал подгрести им.

Миновали поворот. Паром скрылся из виду. Впереди показалась и наплывала на трех друзей уступистая скала, вырастающая прямо из воды. Над верхушкой скалы, поросшей кустарником, повисло солнце, уже не такое нещадное, как в полдень.

— Все,— перевел дух Степка.— Можно малый ход... — подмигнул друзьям: — А ловко мы...

Назад возвращались, когда тени слились воедино и стали сгущаться сумерки. Все трое были тихие, приунывшие. Устали, проголодались. Однако больше всего мальчишек беспокоило раскаяние и мысль о возможном возмездии паромщика. И все-таки маленькие злоумышленники не теряли надежды, что все обойдется. Если понадобится кого перевезти, то у Шалтая-Болтая есть вторая лодка. Но скорее всего он уже «хорош» и ушел в свою избушку на яру, так что это даже хорошо, что они возвращаются так поздно.

Паром стоял на приколе. На нем было тихо, безлюдно. Степка приказал Ваське шепотом:

— Хорошеньче греби. Не плещи...

Васька старался грести хорошо. Степка взял в руки цепь и утвердился на носу лодки. Страшило его одно: когда он будет набрасывать цепь на крюк, она ведь, как ни старайся, звякнет. Обязательно звякнет, заразина такая.

И точно. Цепь предательски звякнула. И не один раз, а целых три. Да еще лодка вдобавок ткнулась носом в карбас и зашуршала по его боку. В паромной будке тут же сухо заскрипела лавка, показался Шалтай-Болтай. Он, конечно, был «хорош», но не очень.

— Ну, ну, короеды. С прибытием, значит? А я вас поджидаю. Ну-ка, залезайте сюда.

Потупившись, мальчишки поднялись на паром. Шалтай-Болтай долго рассматривал их, пьяно сопел. Мальчишки тоже виновато посапывали и ждали. Сейчас станет кричать. Материться будет. Кричать и материться — ладно, это не так уж страшно. Уши теребить начнет. Это уже похуже. Когда теребят уши — бывает больно.

— Ишь, какие герои! — сказал наконец строго паромщик. — Сели они — поплыли! А если б утопли?! А?!

Мальчишки молчали.

— Если б, спрашиваю, утопли, что б тогда?

Мальчишки не отвечали.

— Вас спрашиваю, если б утопли? — действительно, как все хмельные люди, допытывался паромщик. — Чего молчите-то?..

— Выловили б и похоронили, — ответил Степка.

— Кого? — удивленно вскинул брови Шалтай-Болтай.

— Ну нас...

— Вас?! Да вы что! — испугался Шалтай-Болтай. — Вы что! Ребятишки! Короеды! Вас! Да как можно! Таких хо-ррро-ших! — сгреб всех троих в охапку, прижал

мальчишечьи головы к пиджаку, пахнущему смолой, пылью, ветром. А еще от паромщика пахло вином и луком. — Как же можно! Папки-мамки-то как без вас будут?

Отпустил головы ребятишек. Глядя на них сверкающими восхищенными глазами, покачал головой:

— Нельзя! Вы ж такие хорошие! Нельзя, короеды вы мои! — вдруг о чем-то вспомнил: — А ну, пошли все сюда...

Завел мальчишек в будку. Пошарил рукой на перекладине под крышей, извлек оттуда скомканную газету, развернул.

— Вот. Ну-ка, угощайтесь.

На газете лежали четыре сплюснутые, полурастаявшие карамельки «слива».

— Ну, чего? Берите, говорю, ешьте.

Мальчики несмело взяли по одной конфете, сказали «спасибо». Одна конфета осталась.

— И эту берите. Ешьте, короеды вы мои.

— Это вам, дядя Ваня, — степенно сказал Васька.

— Мне не надо. Я их, ребятишки, не люблю. Берите.

Но никто не брал конфету. Мальчишки не хотели показаться друг перед другом, а еще больше перед паромщиком, жадными. Тогда Шалтай-Болтай всунул карамельку в руку Юрки. Будто знал, что из всех троих Юрка самый большой сладкоежка.

— Я не люблю. А вы угощайтесь.

Полубовался, как мальчишки едят конфеты, ласково потербил Степкины густые черные волосы.

— Ах, язви вас, а! Люблю короедов! Молодцы! А все равно поколотить-то вас надо бы. Разве ж так можно? Без спросу. Вы б спросили — я б вам дал. Я б вас сам покатаю. Без спросу ничего нельзя. Разве папки-мамки вас учат такому? Есть у вас папки-мамки?

Ребятишки кивнули утвердительно.

— Во. Они ж вас не учат самовольничать. Вы попро-

— А трактор, дядь Вань, можете купить? — поинтересовался Степка. Он очень любил технику и собирался, когда вырастет, выучиться на механизатора или шофера.

— Трактор? Могу трактор. Только он шибко тарахтит, зараза, оглохнуть можно, как тарахтит.

— Ну тогда машину, — быстро переменял Степка желание.

— Вот машину — это лучше...

— Не надо машину! Лучше, дядь Вань, коня! — с пафосом перебил Васька. — Красивого такого... голубого, — Васька был немного фантазером.

— Голубых коней не бывает, — возразил Степка.

— Бывают! — с горячностью сказал Васька.

— Не бывают!

— Бывают! — почти взвизгнул Васька и завел на Степку локоть, как бы намереваясь стукнуть. — У цыган не видел, что ли? Голубой, чего ты?!

— У цыган си-и-ивый. Вот так! А голубых не бывает!

— У цыган голубой был, — робко подтвердил Юрка. Робко потому, что он не знал, какой был у цыган конь, он его не видел. А подтвердил потому, что он был за коня. На него сел и поехал. А если машина, то надо учиться на шофера. Юрке же и так надоело учиться. Он уже целую зиму ходил в школу. Осенью снова пойдет, во второй класс. И потом, считал Юрка, любой конь дешевле любой машины. Хоть у паромщика и много денег, но вдруг он захочет еще и себе что-нибудь купить... О добрых тоже надо заботиться...

— Да не бывает голубых, — уже нервничал Степка. — Дядь Вань, ведь не бывает же?

— Как вам, ребятишки, сказать, — паромщик подумал. — У вас папки-мамки разные?

— Разные.

— Во. Значит, и глаза у вас разные. Поэтому ты и увидел сизого коня, а вот ему он показался голубым.

Потому что, говорю, глаза у вас разные. Голубой — красивый цвет, счастливый.

— Вот так! Понял?! — Васька победоносно повернулся к Степке. — Бывают голубые.

Степка не стал больше возражать. Он поверил словам паромщика. Добрым нельзя не верить — они никогда не обманывают.

— Вот, значит, голубого коня и купим вам, — заключил Шалтай-Болтай.

— С седлом, дядь Вань? — спросил Васька.

— Как же, с седлом, конечно. И с уздечкой. Наборной. Все, как следует. Честь по чести.

— И вы его насовсем нам отдадите? — несмело спросил Юрка.

— Насовсем, ребятишки, как же. Мне-то он на что? У меня паром. Я на пароме накатаюсь. А вы будете на коне. Попеременке. Вы будете кататься вон там, на лугу, а я буду смотреть, любоваться на вас. И всем хорошо будет.

В будке сделалось тихо. Каждый из мальчиков представил, как он скачет по зеленому лугу на голубом коне. Например, Ваське виделась вечерняя заря. Заходящее солнце большое, малиновое. Кажется, оно совсем близко. Протяни руку — и дотронешься. Но это только кажется. Васька прищипривает резвого голубого коня и скачет, скачет... А солнце будто дразнит его: то спрячется за верхушками деревьев, то выскользнет и тут же опять спрячется. И Ваське еще больше хочется догнать солнце и дотронуться до него. Послушный голубой конь летит стрелой. Мелькает земля, деревья, отстают птицы. Ветер свищет в ушах Васьки, полощет волосы, а сердце сладко-сладко замирает, и хочется визжать и гикать от восторга...

Шалтай-Болтай, склонив голову на бок, тоже о чем-то задумался. Лицо его просветлело.

— Хорошо! — сказал паромщик. Вылил из бутылки

в стакан остатки вина, выпил.— Хорошо! Ах, жучки-короеды, хорошо с вами, ей-богу! — опустил бутылку на пол, она покатила под лавку и, ударившись о другую, отрывисто звякнула.— Подарю я вам коня. Голубого... Катайтесь... А мне ничего не надо. Мне бы только... В общем, куплю вам коня и...

Паромщик не договорил. В будку влетела его жена — Ведьма. Загремела:

— Че-го?! Чего ты купишь?! Коня?! Мурло ты пьяное! Кому купишь-то?! Им?! — указала на сжавшихся мальчиков.— Своих не нарожал, так чужим коней раздариваешь?! Хвалишься, денег много? А ну, где они у тебя?! — Ведьма схватила мужа за борта пиджака, потрянула, стала шарить по карманам паромщика, извлекая монеты. Шалтай-Болтай не сопротивлялся, он был вял, как сломленный стебель лебеды.— Богач нашелся! Он уже коней раздаривает!.. Дожрался!..

— Ну ладно. Чего там,— бормотал Шалтай-Болтай.— Ладно тебе.

— Я те дам ладно,— Ведьма хлестнула мужа по щеке.— Я те дам коня! А вы слушаете,— обратилась она к мальчикам,— уши поразвесили! Купит он вам! Как же! Ждите! За что купит-то? Вот за это? — показала на ладони несколько монет. И тут же сжала ладонь в кулак, прищурилась подозрительно, оглядев ребят, спросила с ядовитой вкрадчивостью: — А чего это, голубочки, вы здесь собрались на ночь-то глядя? А-а? Ждали, чтоб уснул, да карманы почистить?..

— Не смей! — одернул паромщик Ведьму.

— Ах, паршивцы! Жулики! Вот я вас!..

— Жена! Не сме-е-ей! — закричал Шалтай-Болтай так грозно, что Ведьма оторопела.

— Сблажал... Сблажал, нечистая сила...

— Уйди, Ведьма! Убью! — паромщик соскочил с лавки, кинулся в угол, схватил топор.— Убью сразу!..

Перепуганная Ведьма выскочила из будки, побежала с парома.

— Сблажал, сатана! Сблажал!..

Паромщик швырнул топор назад, в угол, повалился на лавку вниз лицом, плакал и повторял:

— Убью собаку! Убью!..

Потом затих и лежал неподвижно, будто уснул. Мальчики смотрели на паромщика с печалью. Им было жаль его.

— Змея подколодная, — Шалтай-Болтай поднял голову, оперся на руки, сел. Утер ладонями глаза. — Все, ребяташки.. Обобрала она нас. Начисто обобрала. Украла коня нашего, — уставил пустой взгляд в пол, шмыгнув носом. Долго молчал, потом сказал, будто винился: — Не надо. Не сердитесь вы на нее. Несчастливая она. Оба мы горемыки. Эх, короеды-ы-ы, — паромщик снова заплакал и, как тогда, привлек к себе мальчишечьи головы, поцеловал каждую, смачивая волосы слезами. — Хорошие вы мои воробушки. Ступайте-ка по домам. Папки-мамки, поди, потеряли вас. Ругаться станут. Нехорошо. Ступайте...

Трое мальчиков сошли на берег, побрели домой. Молчаливые, подавленные, грустные. Им тоже хотелось плакать. Потому что злая Ведьма отняла у них красивого голубого коня. А еще было жалко паромщика дядю Ваню. Если бы у них был конь, то дядя Ваня, думали мальчики, бросил бы пить вино. Им очень хотелось, чтобы паромщик не пил...

В ту ночь Шалтай-Болтай не поднялся в избушку. Ночевал в будке.

— Иван Пет-ро-ви-и-ич!.. — доносилось с того берега. — Иван Пет-ро-ви-и-ич! Пе-ре-ве-зи-и-и-и...

Но в ответ не слышно было ни звяканья цепи, ни плеска весел...

Осенью, когда река стала, Шалтай-Болтай и Ведьма уехали из села. О паромщике-пьянице и о его злой

жене Ведьме стали забывать. Сейчас о них уже не помнит никто. Кроме трех теперь уже повзрослевших мальчиков. Они и по сей день вспоминают дядю Ваню, который хотел подарить им красивого голубого коня. Добро, даже только обещанное, но обещанное от чистого сердца, помнится долго, всегда. Ведьму же они забыли, как и все в том селе. Будто они ее и не знали, будто и не было ее. Ведь помнятся только добрые люди...

ТРОШКОВЫ

Я приехал в эту деревню в самый разгар сенокоса и прожил в ней целую неделю, выполняя редакционное задание. С раннего утра до обеда, как нитка за иголкой, я всюду сновал за управляющим отделением совхоза: из конторы на молочнотоварную ферму, с фермы в тракторный парк и гараж, оттуда на пастбище, потом к косарям. Ко всему присматривался, прислушивался, обо всем дотошно расспрашивал, прямо на ходу поспешно ставил в записной книжке условные крючки. А к вечеру, немного отдохнув, расшифровывал свои крючки и делал подробные записи в толстой тетради. Занимался я этим у Трошковых на сеновале, куда поселился вопреки воле и желанию хозяев.

На центральную усадьбу совхоза я приехал к концу дня. Оттуда позвонили в отделение и наказали, чтобы устроили человека, то есть меня, «по-людски». Пока я добирался до отделения, вопрос о моем устройстве был уже решен. На



крыльце конторы меня поджидала счетовод, которой было велено отвести меня к Трошковым. У калитки нас встретил хозяин, мужичок лет за сорок с золотисто-серебряной щетинкой небритого лица. Протянул дегтярного цвета руку, сказал смущенно и растерянно, с чуть заметной картавинкой:

— Проходите... Василий...— поколебавшись, добавил нерешительно: — Кузьмич.

Хозяйка, женщина помоложе, ладная, верткая, торопливо и сноровисто домывала крашеное крыльцо, а девочка лет десяти наступала на мать, выкатывая из сени яркий домотканый половик.

— Вы уж извините, я сейчас, мигом,— глянула на меня через плечо хозяйка и еще проворнее заводила тряпкой по нижней ступеньке. Выпрямилась, одернула платье, отставила в сторону ведро, посторонилась: — Проходите.

Мы с Кузьмичом уже закурили, и я сказал учтиво: — Спасибо.

Хозяйка, ее звали Ниной, перевела взгляд с меня на мужа, как бы спрашивая совета, принять благодарность или пригласить понастойчивее.

— Мы вот комаров погоняем дак,— показал Кузьмич папиросу.

Подхватив ведро, Нина понесла его в огород, а мы с Кузьмичом присели на лавку у крыльца. Тут же, возле лавки, стояла совсем новая, перевернутая вверх дном кадка.

Нина поставила на кадку стаканы, а заодно и хлеб, зеленый лук, малосольные огурцы, большую чашку с жареными лисичками. Первый тост был, конечно, за знакомство.

Разливая по стаканам медовуху, Нина не переставала сетовать:

— Молодая еще, не выстоялась. Поди, и не понравится.

Наше пиршество закончилось, когда стали сгущаться сумерки. На землю спускались тугая тишина и мягкая свежесть. Я наслаждался ими с упоением каторжника, вырвавшегося из душного подземелья на свободу. На душе было легко и спокойно, как никогда. Но тут последовало приглашение Нины:

— Проходите в дом. Отдыхать будете.

— Спасибо, но я не пойду,— возразил я.

— Как так,— опешила Нина.— Вас же к нам определили.

— Я у вас и останусь, только на сеновале.

— Еще чего! То ли у нас в избе места мало. Уж и постелено,— голос у Нины густой, напористый.— Мужик!

— Ага, давай-ка брат,— вышитое никак не сказывалось на Кузьмиче, он оставался все таким же растерянным и смущенным, как в момент нашего знакомства.— Поди, умаялся в езде-то. Отдохнешь дак...

— Самый лучший отдых — на свежем воздухе.

— На сене-то да на холоде? И разговаривать даже не хочу,— Нина взяла меня за руку выше локтя и повлекла за собой.

Я упрямо не поддавался ей.

— Врачи советуют...

— Такое их дело — советовать. А вы ступайте в избу.— Но тут, наверное, в голову Нины пришло нехорошее предположение. Сбавив тон, сказала с оттенком обиды: — Конечно, у нас не бог весть какие хоромы, а все же не хуже, чем у людей. Прошлым летом двое городских инженеров неделю жили, ничего, вроде довольны остались.

— Да не в етим, мать, дело,— остановил жену Кузьмич.— Может, вишь, так-то ему интересней.

— Мало ли что интересней. А завтра люди начнут корить да пальцами тыкать. Постояльца, мол, принять приняли, а в дом-то и не пустили. Сраму не оберешься.

— Эка важность. А ты плюнь.

— Плюнешь — не осяятишься. — Но все-таки Нина была урезонена мужем. — Так не на голом же сене будете там.

Побежала в дом, вынесла тулуп, одеяло, подушку, старенькое, но чистое покрывало. Приняв это, как победитель контрибуцию, сопровождаемый и инструктируемый Кузьмичом, я торжественно поселился на сеновале.

Нина, подойдя к лестнице, сокрушенно покачала головой:

— Как каторжник прямо. Замерзнете ведь. Шли бы, говорю, в дом.

Не получив ответа, пожала плечами:

— Чудной какой-то человек. И что это за спанье будет...

Хозяев дома нет — не пришли еще с работы. Кузьмич — совхозный электрик, Нина — техничка в школе. Сижу на сеновале, сосредоточенно записываю в тетрадь впечатления дня или читаю книгу. Сеновал стоит лазом прямо к дороге. Мало ли народу проходит мимо — на всех головы не наподнимаешься. Но как только слышу ее шаги — я их уже заучил: мелкие, чуть-чуть шаркающие — откладываю тетрадь или книгу в сторону, спрашиваю:

— Наташа, куда путь держишь?

Наташа — это дочь Кузьмича и Нины. Худенькая, голенастая, с острым личиком, в очках, она как неутомимая пчелка все время о чем-то хлопочет, всегда чем-то занята. Вот и сейчас куда-то с бидоном направилась.

— На старый ключ за водой пошла.

— А что, есть еще и новый?

— Есть. Недалеко, за коровником. Только вода в нем не такая вкусная. А в старом холодная и вкусная. Он дальше нового, по дороге как на братскую могилу идти. У нас братская могила есть. В ней двенадцать партизан захоронено. И с ними мальчик. Сын одного партизана.

Когда их белые повели на расстрел — осень как раз стояла — отец говорит мальчику: «Беги, сынок, через речку и — в лес». И он побежал. Спрыгнул с берега и — по льду на ту сторону. А белый офицер вытащил пистолет и два раза выстрелил ему в спину. Мальчик упал на лед, завозился, сунул за пазуху руку, потом затих. А вокруг него красное пятно большо-о-ое появилось. Думаете, кровь? В том-то и дело, что не кровь. У него за пазухой знамя отряда было спрятано. Когда белые подбежали к нему и хотели вырвать знамя, то не могли, так крепко он его зажал. Двенадцать лет мальчику было. Когда учительница рассказывает про это, я реву. Сколько раз рассказывала, столько раз я ревела. А давайте сходим с вами на братскую могилу.

— Давай, сходим. Завтра, хорошо?

Наташа задумалась.

— Нет, лучше послезавтра. А завтра мне надо полы в доме и сенках вымыть, куклам одежду постирать, уже целую неделю в одном ходят, самих искупать, как анчутки сделались. Потом им и Кольке книжку читаю... А хотите, я вам кулончик подарю?

— У тебя кулончик есть?

— Сколько хотите. Я их сама делаю. Вот подождите, обернусь за водой. Я мигом...

На обратном пути Наташа подошла к самой лестнице.

— Хотите воды? Попробуйте, — подала бидон. — Вкусная, правда же?

Ушла и вскоре принесла обещанный кулончик — легонькую с тисненым подснежником бляшку на шелковой синей ниточке. Что кулончик самодельный, заметно было сразу. Но как и из чего он сделан, догадаешься не вдруг. Пожалуй, я вообще не догадался бы, если бы Наташа не рассказала.

— Все очень просто. Берем алюминиевую ложку, берем полиэтиленовую пленку и поджигаем ее. Полиэти-

лен плавится и капает в ложку. Потом, когда затвердеет, но не совсем, выцарапываем узор, какой захочется. А чтобы узор был заметный, зубным порошком посыпем и протираем — царапины становятся белыми, а все остальное темное. Иголкой легонько ковырь — и кулончик отстал от ложки. Прокалываем дырочку, вдеваем ниточку, завязываем и — готово.

— И правда, просто. Тебя кто-нибудь научил?

— Никто, сама, — Наташа, довольная, улыбается скромно, с достоинством. Она любит улыбаться, и, надо сказать, улыбка идет ее лицу. А вот смеется она совсем редко, коротко и как-то строго. Но однажды я рассмешил ее до слез. Хотя повод для смеха был, на мой взгляд, самый пустячный. Прогуливаясь вдоль реки, я, не помню как, поднял попавшую под ноги палочку, с ней и подошел к двору Трошковых.

— Зачем палка? — спросила Наташа.

Откуда мне знать, зачем. Но коль вопрос задан, надо на него отвечать. И я сказал первое, что пришло в голову:

— А вдруг на меня гусак накинулся бы. Чем бы я оборонялся?

Наташа от приступа смеха схватилась за живот и даже присела.

— Г..г..гу-сак! Такой большой, а гусей боитесь. Вон Колька в три раза меньше любого гусака и то не боится...

Розовощекий богатыренко Колька — братишка Наташи. Ему четыре года. Своенравный парень. Каждый вечер подходит к Кузьмичу, становится меж колен, осторожно, чтобы не уколоться о щетину, прикладывает ладони к щекам отца и говорит таким тоном, будто очень изумлен тем, что ему в голову могла прийти такая мысль:

— Пап, а ты купи мне двухколесный «велик», как у Витьки Воробьева.

— Для такого «велика» ты еще мал, сынок, — ноги до педалей не достанут.

Колька, конечно, разочарован таким ответом, но не отступается:

— А подрасту — купишь?

— Вот расти скорее и — купим.

— А как — скорее?

— Это уж, брат, как можешь.

Колька тяжело вздыхает, поворачивается и садится на свой трехколесный.

— Дж-ж-ж, — подражает машине. Едет навстречу Витьке Воробьеву и кричит ему: — Не хвались, не хвались! Зато у меня задняя скорость есть, — крутит педали в обратную сторону. — Дж-ж-ж...

Однажды, видно, совсем Кольке опостылел его трехколесный, или просто зима вспомнилась, вынес из кладовки лыжи. Надел их на босые ноги. Сделал для разбега два шага, оттолкнулся палками, но лыжи не покатались, и Колька ткнулся носом в пыль. Поднялся, стал в недоумении оглядывать лыжи: в чем дело?

— Снега-то нет, — подсказал я ему.

Колька ничуть не смутился.

— Вот и хорошо, можно босиком и не холодно.

Выкрутился! Ох, и хитрец! Хитруля — называет его мать. Отпуская на улицу, Нина скажет Кольке:

— Сегодня вечер прохладный. Куртку, сынок, не снимай. А то завтра совсем не пуцу гулять.

— Ладно. Не буду, — пообещает Колька. Но разыграется, станет ему жарко, стащит с себя куртку, повесит на забор и крикнет матери, упреждая ее гнев: — Мам, я завтра решил на улицу не ходить.

— Ой, хитруля! Ой, хитруля! — не может сдержать смеха Нина. — И в кого ты только такой уродился. Драть ведь тебя надо.

А рожица Кольки светится гордым лукавством.

В общем, жизнь у Кольки привольная, что хочешь,

то и делай. Но есть у него и постоянные обязанности: следить, чтобы куры в огороде не пакостили, вечером корову с лужайки домой пригнать, с речки гусей, уток. Со своими обязанностями Колька справляется отлично. У него всегда порядок, что самое главное. А как этот порядок достигается, значения не имеет. Это уж его, Колькино дело.

Колька катается на «велике» или просто носится с ребятишками по улице, а в тени стайки лежит собачка Шарик и дремлет. Не отрываясь от своих увлечений, Колька крикнет:

— Ша-рик! Ку-ры!

Шарик подхватывается, с лаем стремительно бежит в огород и выгоняет оттуда переполошившихся кур. Возвращается на прежнее место и опять дремлет.

— Ша-рик! Ку-ры! — через некоторое время крикнет снова Колька, и Шарик опять послушно летит в огород.

Шарик — собачка небольшая, чуть побольше рукавицы. Он весь черный, лоснящийся, а лапки до колен белые, как в гольфиках. На груди белый бантик-бабочка, придающий ему этакий артистический вид. Впрочем, Шарик в некотором роде и есть артист. Он обладает исключительно редким в собачьем роду талантом: умеет петь. Если его попросить: «Шарик, голос!», он никогда не откажет в удовольствии. Сядет на задние лапки, передние скрестит на груди, склонит голову на бок и запоет:

— У-ав-у-у-у-у. Вау-ву-у-у-у...

Не спешит, не халтурит, выводит каждую ноту. Особо старается, если Колька или Наташа аккомпанируют ему на губной гармошке. Но если заметит, что кто-нибудь к его природному дарованию относится с насмешкой, обиженно отвернется. И сколько бы уже его ни просили: «Голос! Голос!», делает вид, что обращаются не к нему. Но такое случается очень редко, потому что все относится уважительно к способностям Шарика. И во-

обще с людьми у него самые дружеские отношения. Исключение составляет одна только почтальонка. При виде ее Шарик становится упругим комком злости. Шерсть на загривке дыбится, зубы оскаливаются. Но может ли он вести себя иначе, если почтальонка всякий раз приближается к дому Трошковых с палкой или с поленом в руках?

— У, холера! Я вот тебя! — грозит она Шарику и, не доходя до калитки, кричит: — Наташка-а-а! Пошел, нечистая сила! Наташка, где ты там? Забери-ка вот газеты... У, чтоб ты окошел! — и почтальонка боком, боком убирается.

Впрочем, теперь появился у Шарика еще один неприятель. Как-то играли ребятишки в догоняшки. Шарик носился со всеми по поляне, ему тоже было весело. Прижав уши и волоча по земле хвост, делал круги, вертелся волчком, дурашливо рычал и бросался на ребятишек. Так разошелся, что попал под ноги городскому Андрейке, мальчишке чуть постарше Наташи, приехавшему в гости к Воробьевым. Андрейка споткнулся и упал на одно колено. Мальчишке не придать бы этому никакого значения, — и он и Шарик, оба были в азарте игры и под ноги не смотрели, — а Андрейка со злом пнул Шарика да еще хотел огреть его хворостиной, которую держал в руке. Шарик успел отскочить в сторону, зарычал и уже изготовился схватить обидчика за штанину, но Наташа прикрикнула на него:

— Шарик, не смей!

— Чего собаку распустила? — осмелел и завозмутился Андрейка. — Я вот сейчас тебя самое этим прутом.

На лице мальчишки было столько негодования, что он и в самом деле мог хлестнуть Наташу. Я видел это и уже хотел было вступить, как вдруг подскочил Колька, заслонил сестру своим маленьким телом и сказал с суровой твердостью:

— Только ударь! Нас трое. Только ударь!

Шарик тоже подошел поближе и бдительно наблюдал, что будет дальше, чтобы в случае чего оказать друзьям подмогу. Я решил, что мне встречать в это дело нет никакой надобности. Агрессивный Андрейка стоял перед неприступным бастионом дружбы и отваги.

Обычно первой приходила с работы Нина. Не присев ни на минуту, не осмотревшись, с ходу окуналась в прорву домашних дел. Кормила поросенка, стирала белье, бежала в огород полоть грядки, варила ужин, доила корову. Делала все легко, будто походя, но выходило у нее ладно и надежно. Рядом с Ниной копошилась и Наташа. В отношениях между матерью и дочерью преобладало молчаливое и прочное согласие, будто у них была одна общая воля, одни думы. Лишь изредка они обменивались какими-нибудь малозначительными фразами, больше произносимыми одной вслух для себя, чем для другой.

— И какая же вредная эта трава жабрей. На прошлой же неделе все выполола, уже опять выросла,— это голос Нины доносится из огорода.

— Так дождь же прошел,— отзовется Наташа, и опять работают молча.

— Ой, помидорчик отломила нечаянно! — воскликнет вдруг Наташа.— Ну и пусть. Положу его на окошко, он покраснеет.

— Покраснеет, а чего ж,— подтвердит Нина...

Кузьмич, возвращаясь с работы, всякий раз подходил к сеновалу, приветствовал меня:

— Здорово-были.

Ставил на перекладину лестницы ногу, перекидывал через колено рабочую куртку и пристальным, усталым взглядом обводил свой двор. Угрюмоватый от природы, он всегда казался усталым.

— Поднимайся, Кузьмич, покурим.

— И то. Покурим, пожалуй.

Кузьмич поднимался на сеновал, усаживался рядом со мной. Закуривали, и Кузьмич несмело хихикал.

— Что? — спрашивал я.

— Да приехал это, значит, цыган в город... — и рассказывал анекдот. Какой-нибудь старый, бородатый, а если и новый, то получалось у него неинтересно, и смеяться приходилось ему одному. Кузьмич конфузился и сопел. Чтобы избавить его и, конечно, себя от неловкости, я заводил какой-нибудь разговор.

— Чем сегодня занимался, Кузьмич?

— На работе? Дак все в новом доме проводку ладил.

— Закончил?

— Только что. Да бабы, едри их в маковку. Давай, говорят, быстрее, штукатурить надо. А как тут быстрее? Кирпич, знамо дело, не бревно, так-то просто в него гвоздь не вобьешь. Нет, заладили: кончай скорее, штукатурить надо. Бабы, говорю. Того ведь не смыслят, что ежели сделаешь как ни попади, опосля замкнет, — вот тебе и пожар, вот тебе и «скорее».

— Так уж сразу и пожар?

— А что ты думаешь? С нашим народом недалеко и до пожара. В дома-то чего ведь только не понатащили. Там тебе и плитки, и утюги, и холодильники, и стиральные машины. Да что там: самовары теперь и те, едришкина маковка, электрические пошли. Тройников набрали и все в одну розетку суют. Как вечер, так энергии не хватает.

— Трансформатор надо помощнее ставить.

— Да куда же еще мощнее! — оживлялся Кузьмич. — Я тебе счас все обскажу. Я тут электриком с первого дня, как электричество провели. Вначале ведь у нас своя станция была. На речке стояла. Километра полтора вверх. Мощностишка генератора всего ничего — пятьдесят киловатт...

— Мужик,— появляется возле лестницы Нина. На бедре она держит таз с бельем.— Я пошла на речку полоскать. А ты за вареньем смотри, чтоб не сплыло да не подгорело. Я его только поставила, немного погодя помешай. Слышал?

— Слышал. А Наталья-то дак где?

— Сахар вышел, в дежурку послала.

— Ладно. Иди.

Кузьмич продолжает рассказывать мне историю роста энергоснабжения села. Того, что давала электростанция, едва-едва хватало на кузницу да на две зерносушилки «Колхозница». А сейчас? Сейчас у Кузьмича зарплата в два с лишним раза стала больше против прежней. И неспроста: потребителей стало больше и мощнее. Одна новая зерносушилка берет сто пятьдесят киловатт. Без вспомогательных механизмов. А тракторный парк, автогараж, полностью механизированные коровники, лесопилка, водокачка? Если короче, то так считать надо: все отделение питают три подстанции общей мощностью шестьсот киловольтампер. Пятьдесят и шестьсот. В двенадцать раз выросло потребление электроэнергии.

Эти цифры кажутся мне стоящими того, чтобы их записать. Я тянусь к своей тетради. Записывая, переспрашиваю Кузьмича, уточняю цифры. Вдруг из летней кухни доносится переполошенный голос Нины:

— Боже ты мой! Так я и знала! Мужик! Да ты варенье-то упустил! Ах, нечистая бы тебя разнесла!.. Я же наказывала!

Кузьмич, я следом за ним, спускаемся с сеновала, бежим в кухню. Полюбоваться плодами своей забывчивости. Там чадно, густо пахнет жженой смородиной, будто на плиту угодило само лето.

— Полюбуйся, тюха-матюха, полюбуйся! Вот уж правда, пошли Вавило по мотовило. Сидишь сиднем, ласы точишь, дом сгорит — сам не увидишь, пока соседи не скажут. Нет уж, наверно, тупо сковано — не наточишь,

глупо рождено — не научишь. Ну чего ни попроси, чего ни заставь — испоганит или изуродует...

Нина нещадно костерит Кузьмича, а он, присев на скамейку, слушает невозмутимо, будто не о нем и речь. Потом говорит:

— Ладно, не кипи, остынешь.

Эти слова, вернее их безразличный тон, подхлестывают Нину.

— Я же говорю — тюха! Лада никакого, а ему все одно — ладно. Упрямый, как кувалда. И что за мужик. Бывают хуже, да куда как редко. Сидеть да лежать — вот тут ты мастер. Да еще винище с мужиками хлестать...

— Да, Нина, — иронически вздыхаю я, — судьба у вас — не позавидуешь. Горше калины зеленой.

Нина осекается на полуслове. Старается придать лицу каменную суровость, в какой-то мере ей удается это, но улыбка, выпирающая изнутри, настойчиво раздвигает губы; Нина пытается задавить ее, хмурит брови и вертит головой, будто глаза ест дым, отворачивается. Но нет, не в силах она совладать с собой. Махнув на меня рукой, дает волю чувствам и, запрокинув голову, смеется вольно и весело, до слез.

— И правда! И правда! Ведь нас, баб, послушать, так счастливых и нет, одни горемыки. И во всем мужики виноваты. А кого ж еще винить? Их, окаянных! Их!

И немного погодя, когда улягутся в ее душе бурные чувства, начинает рассудительно:

— Как-никак, а шестнадцать лет мы с Василием прожили. И слава, можно сказать, богу. Обходились без скандалов. Потому как не из-за чего скандалить-то. Когда я шла за него, то, правду сказать, боялась. И хотела, и боялась. С виду вроде мужик ничего, тихий и рассудительный, дурного не болтает. А чего-то ж, думаю, с первой не пожилось. Теперь-то вижу: среди нашего брата, баб, тоже есть птички. С виду ангелицы, а в душе бес

сидит. И чего этому бесу надо, сам сатана не скажет. Я вот тоже заполошная бываю. Где надо, где и не надо покричать люблю. Характер такой. А Василий, этот всегда одинаковый. Не суетной, а старательный. И на работе такой, и дома. Если уж за что взялся — до ума доведет. А начни его понукать да подгонять — зауросит. Тогда, может статься, и горшки побьет. Но такого еще не бывало, чтобы бил-колотил. Нет, грех мне на Василия обижаться. Денег не пропьет, не прогуляет, как есть другие. Хоть вон Мишка Зуев. Вчера с городскими напился да и трактор в реке утопил. Каждый вечер дома «поставки» бесплатные. Другой раз, бывает, и мой явится выпивши. Но не каждый же день. Придет, ляжет и спит. Или сидит талдычит чего, а мы смеемся. Пьяненький-то он уж такой распотешный. А чтобы на меня или на детей зря накричал — в жизни не бывало.

— Да и дети у вас, Нина, хорошие, — спешу я воспользоваться подходящим моментом.

И опять на лице Нины суровость. Но уж непритворная.

— Не знаю, пусть люди скажут.

— Вот я, посторонний человек, и говорю: хорошие у вас дети.

— Мало ли что вы скажете. Мужик, хватит сидеть, принеси-ка из колонки воды да зови ребят ужинать...

После ужина мы с Кузьмичом снова лезем на сеновал, и я записываю в тетрадь то, что не успел записать из-за уплывшего варенья. Потом курим и говорим о чем-нибудь совсем необязательном. Нина переделает все свои дела, уложит ребят в постель, подойдет к лестнице.

— Ну, мужик, пойдем тоже спать, что ли?

— Успеется.

— У тебя все одно — успе-е-е-ется, — передразнивает мужа, а сама уже забралась наверх. — А ну-ка, подвинься, что ли. И какое тут спанье, и как может тут нравиться.

— Сами-то, наверное, в молодости так же спали, и нравилось.

— Так то в молодости. В молодости все было, да быльем теперь уж поросло. Помню, еще снег путем не сошел, а мы, ребяташки, уже по лужайке босиком бегаем, ручьи прудим, мосты строим. А к вечеру — цыпки. Руки огнем горят — спасу нет. Мачеха сметаной мажет да по ним же колотит и реветь не велит. Ой, злющая была Михайловна, царство ей небесное. Говорят, какой бы ни была доброй мачеха, а все равно злой речется. А я вот и хотела бы помянуть свою добрым словом, да не придумаю, за что бы. К ней и родные-то дети, как выросли да свои семьи завели, глаз не стали казать. Значит, и у родных не шибко к ней сердце лежало. Тятя мой понимал, какая она есть, да молчал. А перед самой смертью подозвал меня, погладил по волосам и говорит: «Горько тебе, дочка, будет. Да что поделаешь — терпи уж как-нибудь». Умер тятя, чахотка у него была, так уж я натерпелась, уж помыкала горя. Еще и потому за Василия шестнадцати лет пошла, что моготы больше не было. Возле него только моя душа чуток и отогрелась.

Глядя на опустившееся к самому лесу солнце, большое, раздумянившееся, словно бы только из бани, рассказывает Нина о своей и Кузьмича судьбе. Она у них не какая-нибудь особенная, а как и у всех людей, скована из счастья и горя, из радостей и печалей. Сразу, как сошлись, жили у чужих людей. Работали во всю мочь. Какая копейка заведется, все на дом берегли. Сын родился, Леня. А уже после, когда дом **выстроили**, Наташа нашлась. Кузьмич, трезвая голова, даже загулял не на шутку. От радости. Как хотел, так и **вышло**: сын и дочь. Но, как всегда вдруг, пришло горе — **утонул** Леня. Почти пять годков исполнилось. **Забавный был мальчонка**, игривый и смышленный. На него уже и **Наташу можно было оставить**. И соску ей даст, и **укачает**, и баюшки-

баю споет. А раз пошел с ребяташками постарше на речку. Все стали купаться, и он тоже, а плавать не умел. Хлебнул воды, испугался и потерял власть над собой... Хотелось Трошковым, чтобы родился у них еще сынок, но, думали, такого, как Леня, уже не будет. Только через четыре года принесла Нина Кольку. Принесла да сама чуть было на тот свет не отправилась. Как из больницы пришла, так и стала, не дожидаясь, пока муж с работы придет, все по хозяйству делать. Подняла что-то тяжелое — и раскапустилась. Три месяца пластом валялась в постели. Все домашние заботы на плечи Кузьмича легли. А у него и по работе в ту пору дел невпроворот было: как раз новую подстанцию пускал. Уж не то, чтобы пораньше — вовремя с работы не приходил. Но мужик он хоть и не такой видный собой, но жилистый — выдюжил. Подстанцию, как и намечалось, до начала уборочной сдал. Новую зерносушилку запустил. За это и за другие заслуги его орденом Трудового Красного Знамени наградили. Как раз в год пятидесятилетия Советской власти. Уехал Кузьмич в район на торжественное собрание награду получать. Поздно вечером вернулся, порог переступил, а жена ему новость: корова ногу поломала. Пришлось прирезать. Ползими без своего молока жили. Потом новую корову купили, хорошая попалась, лучше и не надо. Вот она возле ограды лежит, жует жвачку и сыто отдувается. Красивая, статная корова, ее так и зовут — Красуля.

— Все, что я говорила, это только так, выжимки. А если подряд рассказывать, то и на воловьей коже не написать. Всякое было. А то ли еще будет! Ведь до середины жизни только дошли.

Из-за леса, куда уже спряталось солнце, вывернулось подпаленное им снизу плотное облако. Передний край его тонкий, размытый, нижний — четкий и ровный, но с мелкими зазубринками, словно бы огненно-рыжий кусок овчины, отполосованный тупой бритвой.

— Солнце под тучу село, значит, завтра ненастье или хмарь будет,— замечает Нина,— опять сену в валках лежать.

— А опосля ненастья? Все равно же ведро настанет,— возражает Кузьмич.

Сидим, молчим. Деревня утихает. Уставшие за день люди в спешке готовятся ко сну, чтобы с утренней зарей встретить новый нелегкий день.

— Ну, мужик, пошли, что ли? — но сама Нина не двигается.

— Или, может, споем? Давай споем, как раньше бывало.

И начинает первой.

Мне хорошо, колосья раздвигая,
Сюда ходить вечернею порой...

А Кузьмич подхватывает.

Стеной стоит пшеница золотая,
По сторонам дороги полевой.

Допокуют до конца, Нина скажет с удовлетворением и грустью:

— Хорошая песня была... Ну, все, мужик, пойдем. Да и вы шли бы, говорю, в избу... Это надо же, какой упрямый человек.

Сонно скрипит сенная дверь, и почти тут же до меня доносится голос Нины из комнаты:

— Спят мои котики, спят мои сладкие. Набегались за день, намаялись. Одеялко-то сынок на пол уронил. Давай-ка прикроемся. Вот так. А щеки-то невымытые остались. Ах ты, замазуря моя. А дядя-то чужой вас похваливает, говорит, хорошие. Да какие там хорошие — неаглядные! — Я слышу звук поцелуя. — Золотаюшки мои...

Утром я собирал свой рюкзак. Уходя на работу, Кузьмич поднялся ко мне на сеновал.

— Ну, паря, бывай. Если случишься когда близко, заворачивай к нам дак.

Наташа в этот день приболела: вчера, когда мы все ходили на покос, напилась ключевой воды, и теперь у нее обложило горло. Колька уже куда-то умчался. Нина, проводив меня за калитку, подала руку, сказала с искренней виноватостью:

— Вы уж нас не корите.

— Да за что?

— На сене ведь так и прожили. Как каторжник. Перед людьми даже совестно.

Я рассмеялся.

— Хотела спросить вас,— Нина замаялась.— Спросить хотела. Где же это вы так с граблями управляться научились? Как деревенский прямо.

— Так я и есть деревенский.

— Неужели? — удивилась Нина.— Во как! А я-то думала, ты из этих, интеллигентов. Ну тогда... Тогда все правильно. Приезжай еще когда. Со всей семьей приезжай. Рады будем. Спасибо тебе за все. Приезжай...

Дальше провожал меня Шарик. Часто перебирая впереди коротенькими ножками, он поминутно оглядывался, улыбался: «Не отставай». Сворачивал с тропинки, вьющейся вдоль берега, обнюхивал кустики, пеньки, иногда поднимал ножку, брызгал и опять вприпрыжку забегал вперед.

Возле крайних изб, под берегом я увидел Кольку. Он и еще несколько ребятшек рылись в песке.

— Ну, до свидания, Коля, ухожу я.

— Куда?

— Домой.

— А когда придете?

— Теперь уж, наверно, нескоро.

— А мы строим.

— Что?

— А новую деревню.

И в самом деле. Из песка и глины ребятишки налепили замысловатых сооружений.

— А где тут у вас что?

Мальчишки наперебой принялись объяснять:

— Это коровник, склады, гараж...

— А вот здесь дома многоэтажные, как в городе. Тут клуб, стадион, сад.

— Сейчас телевышку будем ставить, — самый старший мальчик и почему-то самый чумазый, показал три связанные пирамидкой прута, которые выполняли роль телевышки. — Потом дороги начнем строить.

«Все верно, — подумал я. — Все хорошее, что создано умом и руками человека, начиналось с мечты. Она начало всех начал».

— Молодцы, ребята, — сказал я вслух, — хорошая у вас будет деревня. Так до свидания, Коля.

— Ага, — равнодушно отозвался Колька. До него не доходило, что расстаемся мы навсегда. Он был «бульдозером». Усердно толкал впереди себя ладонями песок, надувал щеки, на губах кипела и пузырилась слюна. — Дрыт-ды-ды-ды...

Далеко за деревней, в роще, Шарик остановился. Повернулся мне навстречу, вильнул колечком хвоста: «Все, дальше не могу».

— Ну, что ж, спасибо и на этом. Спой-ка что-нибудь на прощанье. Голос!

Впервые за все время нашего знакомства Шарик отказался петь. Угрюмо отвернул голову в сторону.

— Тогда дай пожму твою лапу, — я опустил на корточки.

Шарик услужливо вложил в мою ладонь свою мягкую, влажную от росы лапку, весело и хулиганисто лизнул меня в щеку, крутанулся и без оглядки помчался обратно. В деревню, где был его дом, где были его друзья.

А я пошел своей дорогой.

БЕЛАЯ РУБАШКА

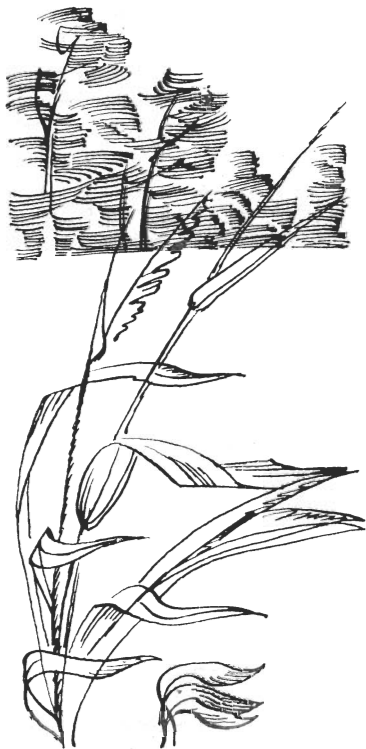
Моим дочери и сыну...
Эти слова — не посвящение. Так я хотел бы начать то, о чем собрался рассказать.

У меня был старший брат Александр. Но я его не знал. Он не вернулся с фронта. Он пропал без вести где-то под Харьковом. Знаю его только по большому портрету, который висел в нашей горнице. Теперь этот портрет хранится у меня. А еще храню в памяти своей давнишний случай с моим братом. Вот о нем и расскажу я вам.

Было мне тогда лет восемь или девять. Однажды зимним утром я проснулся от стука в дверь, которая тут же с сухим морозным скрипом, будто холст разорвали, растворилась, кто-то переступил порог, и дверь захлопнулась.

— Здравствуйте.

Я узнал по голосу, это пришла почтальонка тетя Клава Соломина. Приподнялся, откинул на спинку кровати цветастый ситцевый полог. Интересно бы-



ло узнать, что принесла нам тетя Клава сегодня. Может, наконец письмо от Шуры? Может, он нашелся? Ведь находятся же другие. Даже те, на кого приходили похорошки, вдруг объявлялись живыми и здоровыми. А на Шуру нашего ничего не приходило. Он пропал без вести. И я, как и мать с отцом, каждый день ждал, что мой брат придет или придет письмо. Шли день за днем, месяц за месяцем, год за годом, но ни самого Шуры, ни письма так и не было. А мы все ждали и ждали... Может, сегодня?

Тетя Клава плохо гнуцимися пальцами — видно, очень застыли они у нее — пошарила в тощеватой кирзово-вой сумке, достала бумажку, подала ее отцу. Он сидел возле сундука на маленькой табуреточке и починял колхозную упряжь — шорничал.

— Что это? Повестка вроде?..

— Куда? — встревожилась мать и через плечо отца заглянула в бумажку, но разобрать ничего не могла — она была совсем неграмотной.

— В милицию. К следователю, — сказал отец.

— О, господи! — испуганно и тихо воскликнула мать. С просительной робостью посмотрела на тетю Клаву. — Может, это не нам?

— Чего ж не нам, когда нам, — отец вздохнул с прерывистой протяжностью. — Садись, Клавдия, погрейся. Морозы-то совсем сдурел... «В качестве свидетеля...» Это по крольча-а-атникам.

— А я уж думала, беда какая, — приободрилась мать и отошла к плите, на которой шипела картошка.

— Достукались Мишка с Васькой. Теперь, поди, засудят, — тетя Клава опустила на лавку, поколотила валенок о валенок — ноги у нее тоже застыли.

— А то чего ж. Засудят. За такие дела по головке не гладят, — отец положил повестку на стол.

Я понял, о чем шла речь.

В конце ноября взрослые парни Мишка Скрябин и

Васька Нечаев залезли поздно вечером в стайку к райпотребсоюзозовскому шоферу Станиславу Бобровскому и украли четыре пары кроликов. Тоже разводиться надумали. Станислав вышел на улицу то ли до ветра, то ли еще зачем и заметил от стайки к калитке следы. В тот вечер шел легкий снежок, а к ночи стих на беду воров. Станислав взял спички и пошел по следам. Возле нашего дома спички кончились. Бобровский постучался к нам и, объяснив в чем дело, попросил спичек. Отец вынес ему коробок, и Станислав пошел дальше. Следы привели его к дому Нечаевых. Побарабанил в сенную дверь. Вышла Нечаиха, мать Васьки.

— Кто там?

— Не чужие. Василий дома?

Нечаиха замаялась, потом сказала:

— Нету. Гуляет где-то...

— Все равно открывай.

Деваться некуда. Нечаиха впустила Бобровского в дом. На кровати лежали Васька и Мишка.

— Спите, хлопцы? — спросил Станислав.

— Угу, — враз ответили парни.

— А что же одетые-то? Прямо в пиджаках? Чудно! И мешки за печкой чего-то шевелятся. Какой-то чудной дом...

Нечаиха — в слезы. Давай убаживать Бобровского. Мол, по молодости, по глупости парни созорничали. Накинулась на Ваську с Мишкой с запоздалой бранью. Потом опять принялась упрашивать Станислава простить «дураков». Бобровский забрал своих кроликов и ушел.

А на другой день Ваську и Мишку забрали в милицию.

— Как жить-то станет Нечаиха, если Ваську засудят? Хворая она, — жалостливо сказала тетя Клава.

— Как миленьких засудят, Клавдия, — с каким-то безразличием произнес отец.

— Васька-то парень ничего. Это Скрябин, окаянный, Мишка, подбил его.

— Что теперь рассуждать. Теперь ни тот, ни другой не открутятся.

— Нечаиху, говорю, жалко,— грустно покачала головой тетя Клава.

— Что ж, что жалко,— с тем же безразличием сказал отец, прокалывая шилом ремень уздечки.

— Убиваться станет. Мать же...

— Не мать она ему, Клавдия,— отец резко протолкнул иглу в проколотую шилом дырку.

— Как же не мать! Как не мать! — обиделась за Нечаиху тетя Клава.— Зачем, Федор Петрович, такое говорите... Ваську посадят — ладно, заслужил он. А старуха-то за что будет маяться. Она ж не помогала ему, не посылала за кроликами.

Отец ничего не сказал. Он прошивал уздечку.

— Мишка и взбаламутил Ваську, повел его на поводке. Скрябины, те вся порода воровская и других втягивают...

— Ты, Клавдия, помнишь, как мы сюда в тридцать третьем году по осени приехали? — зачем-то спросил отец.

— Как не помнить! Помню. В землянке жили.

— А землянка меньше бани. А нас шесть душ. Ни поить, ни одеть, ни обувь — ничего не было.

— Знаю. Как же.

— Не все ты знаешь,— отец обернулся в мою сторону.— Проснулся, сынок?

— Тогда все плохо жили. Голодное время было.

— Так вот послушай,— отец снова мельком взглянул на меня, будто тоже приглашал послушать то, что он сейчас будет рассказывать.

— По осени мы сюда приехали. Сами и ребяташки, что постарше, пошли в колхоз картошку копать. Урожай, слава богу, хороший был. Картошкой нам и запла-

тили. Запаслись картошкой — до весны как-нибудь дотянем. Потом я и Шурка, ему уже лет четырнадцать было, в больницу устроились. Я плотничал, столярничал, печи переделывал. Шурка воду возил. А вечером в школу ходил. Аж туда, через бор. Далеко. Домой уж к ночи приходил. Раз в конце октября такой день стоял, так тепло было, покойно. А вечером как задувает холодом, как зашумят сосны. Дождь полил, а потом и в снег перешел. Прямо настоящая зима началась. А Шурка в школу отправился в пинжачке, в ботинешках на босу ногу, без шапки. Застудится в такую непогоду парнишка и сляжет. Сидим мы с матерью возле стола, ждем, прислушиваемся. Ребятишки тоже не спят, тоже Шурку ждут. А на дворе такая буря, такая буря. Будто сатана свадьбу справляет...

— Пап, а я тоже не спал? — спросил я.

— Ты? Тебя, сынок, тогда еще не было. Не родился... Зашуршало в сенях — мать к двери. Пришел наш Шурка. Ну, слава богу. А растрепанный, мокрый, холодный — смотреть жалко. Страшно смотреть, Клавдия... Мать засуетилась кормить. Достала чугунок из печки, вывалила в чашку картошку, кусочек хлеба отрезала.

— Садись, сынок, ешь — да на печку греться.

А Шурка, не пойму чего-то, мнется возле порога и смотрит боязно то на меня, то на мать.

— Ты чего, — говорю, — садись, сынок, ешь.

— Мам, — позвал Шурка несмело, — я вот сейчас шел и нашел халат. Сшей мне из него рубашку к Седьмому Ноября, — вынул из-за пазухи белое и протянул матери.

Та уже принять хотела, а я говорю:

— Погоди, — и спрашиваю Шурку: — А где ты его, сын, в каком хорошем месте нашел?

— Возле клуба. Он в канаве валялся. Я поднял...

— Так, так... А напротив, — спрашиваю, — клуба кто живет? Ты знаешь?

— Васса Васильевна Ткачева, — отвечает.

- Верно. А работает она где?
- В больнице.
- Прачкой-надомницей. Так?
- Угу.
- Так чего ж говоришь, что ты нашел халат?
- Нашел, папа! Честное слово, нашел! Он в канаве валялся. Ей-богу...
- Не божись, сын. Лишнее это. Верю. В канаве ты его поднял. Только не туда принес.
- А куда надо? Мама мне рубашку сошьет или Мане платье.
- Нет, сын, не будет ни тебе рубашки, ни Мане платья. Ступай и отнеси халат туда, где ему положено быть.
- Так никто же, пап, не видел, как я его подобрал...
- Ну так и что ж, что никто не видел? Все равно халат-то не наш, чужой. Ступай, неси...
- Опустил Шурка голову, молчит.
- Ты слышал, что тебе сказано?
- Я, папа, отнесу, только завтра. Сейчас холодно.
- Знаю, что холодно. Но завтра, Шура, будет поздно уже. Неси сейчас.
- В бору страшно. Я боюсь.
- Но когда ты сюда шел, ты же не боялся?
- Шурка ничего не сказал. Заплакал.
- Вот тут мать и налетела на меня дроздикой.
- Парнишка замерз, вон аж посинел, а ты гонишь его! Утром отнесет... — и тоже в слезы.
- Не утром, а сейчас же!
- Пусть хоть поест...
- Придет — тогда и поест. Ступай.
- Не сердце у тебя, а камень! Какой ты отец! Родное дитя сгубить хочешь...
- Ступай, сын, — и дверь ему отворил.
- Отец! Слышишь!?

Слышу. Я все слышу. Да не слушаю... Пошел Шурка...

Отец умолк. В одной руке он держал большую иглу, пальцами другой распутывал свившуюся восьмерками дратву. Я смотрел, как он это делает, а у самого сердце сжималось от жалости к брату. Я думал:

«Эх, Шура, Шура, догадался бы ты. До речки-то шагов сорок. Халат в воду — и поплывет он. А сам пережди, сколько надо в затишке под навесом, и заходи в избу».

Но нет, отца не проведешь. Не простак он был, ваш дедушка.

— Пошел Шурка, а я ему вслед говорю: «Завтра я у Вассы Васильевны спрошу, все ли халаты у нее целые, не унесло ли ветром».

Ушел Шурка. А на дворе — вой, свист. Землянка наша аж постанывает да поскрипывает, бедная. Еще пуще разгулялась непогода. Мать села на сундук у порога и плачет. Не плачет, а голосит прямо. Меня, как только может, поносит. Ребятишки на печи тоже ревут. А я сижу у стола, гляжу на картошку в мундирах, что мать для Шурки поставила, и тоже... Тоже чуть не плачу. Думаю: вот он мосток через речку перешел... коровник минул... в бор зашел... А в бору-то жутко что делается. Не то что парнишке, взрослому человеку страшно там сейчас... Может, не надо было б отправлять, подождать бы до утра?..

Отец склонился над уздечкой, но не шил, только разглаживал пальцами ремни и о чем-то думал. Задумалась тетья Клава. Мать, прислонившись к печке, печально смотрела на заиндевелое окно.

А я лежал в теплой мягкой постели и представлял, как мой брат Шура шел в ревущую непогоду по старому бору...

Ветер сек лицо Шуры дождем и снегом. Жутко гудели сосны над головой. Ток... ток... — то здесь, то там падали шишки и сучья. Впереди вдруг возникало что-то

черное, непонятное. Казалось, оно шевелится. Шура в страхе шараялся в сторону и не спускал глаз с черного, которое оказывалось всего-навсего старым обгоревшим пнем... «Гу-гу-у-у», — слышалось в одной стороне. «Ыхы-ыхы-ы», — отзывалось в другой. В сплошном вое и гуле было не понять, что это за звуки: голоса людей, крики птиц или вой животных. А от непонятности становится еще страшнее. Шура то и дело озирался по сторонам, вздрагивал и быстро шел, он почти бежал. А ветер сек лицо дождем и снегом, рвал полы пиджака, будто хотел отнять и унести белый больничный халат, который Шура, конечно же, не украл, а нашел в канаве возле клуба. Худые мокрые ботинки обледенели, судорогой сводило пальцы ног. Шура спотыкался о вылезшие из земли корни, оступался в рытвины, наделанные свиньями, падал. Поднимался и снова шел. Он шел только туда. А потом ему предстояло идти еще обратно. Снова через этот населенный ужасами бор, потому что другой дороги домой не было...

Представляя это, я лежал в теплой мягкой постели. Примостившись у меня под боком, уютно мурлыкал кот Васька. У изголовья чуть потрескивали дрова в печи. И от этого еще явственнее представлялось, как холодно, одиноко и жутко было в бору моему брату Шуру.

Отец, ссутулившись, ворошил уздечку. Мать, стоя у печи, смахивала покотившуюся по щеке слезу. Тетя Клава смотрела перед собой, притихшая, скорбная. Им, наверное, тоже виделся Шура, идущий по бору в ту осеннюю ночь.

— И казалось мне, Клавдия, так далеко, будто на самый край света отправил я парнишку, — снова заговорил отец. — Болело мое сердце, Клавдия, шибко болело. Ты мать и знаешь, как болит сердце по родным детям. Наверно, думаю, и впрямь стубил я сына. Не вернется. А на дворе так завывает, так завывает. Кажется, конец света настает. Все — и мы с матерью, и ребятишки —

сидим, плачем и ждем. Уже два раза рассвести **бы** должно, а его все нет и нет, — плечи отца поднялись и опустились от вздоха. — Надо, думаю, идти встречать или искать. И уж встал, чтобы собираться, как скрипнула в сенцах дверь. Пришел Шурка. Вот так и хотелось на колени перед ним упасть, когда глянул на него. Да Шурка ли это мой?..

Ну, сын, — спрашиваю, — отнес халат?

— Отнес... — и стоит у порога.

— Молодец, — подошел, погладил его по мокрой голове, — вот теперь садись, ешь. Ешь, сынок, и ложись на печку спать. Утром на работу пойдем.

Вот так, Клавдия. За кого хочешь меня считай. Ирод я, супостат, изверг? Она, — отец указал на мать, — так меня и называла, пока Шурка ходил. Может, и правильно. А только, опять же, что мне было делать?

Тетя Клава мельком взглянула на отца и, опустив голову, покивала в строгой раздумчивости, вздохнула:

— Да-а-а...

Мать положила на стол четыре ложки, принимаясь резать хлеб, сказала мне:

— Умывайся, сейчас завтракать будем.

— Утром поднялся я, — продолжал отец, — разбудил Шурку. Может, думаю, заболел, жар у него. Нет, вроде ничего, бог миловал. Значит, на работу пойдем. Собрались, сели завтракать. И только сели — стук в дверь. Заходит Васса Васильевна.

— Здравствуйте! — и с самого порога затараторила, уж такая тараторка была: — Ой, да Федор Петрович, ой, Родионовна! Да какое же я вам спасибо **принесла!** Шурик-то ваш до чего же парень **путный**, прямо золотой! Вчера среди ночи стучится к нам. Я **открыла**. Он говорит: «Тетя Васса, я вот в канаве халат нашел, возьмите, ваш, **наверно**». Ох, да если б, Шуронька, мой, если б, **детка, мой**, — обняла Шурку за плечи, — а то ведь Чеснокова. **Андрея Васильевича**. **Самого** главного врача.

Страсть, какой строгий он человек. И что было бы со мною, если бы халат пропал, не знаю. Беда была б. Такая беда! Спасибо тебе, Шуронька, и вам, родители, спасибо! Другой бы кто поднял бы — и дело с концом, а мне бы беда. Спаситель ты мой! — и Шурку в лоб поцеловала. Во как! — отец засмеялся весело, счастливо и посмотрел на меня. Я уже сидел на табуретке возле стола и, дожидаясь, когда мать поставит сковородку с картошкой, вертел в руках ложку.

А отец продолжал:

— Выговорились, отстрекотала, отспасибкала Васса Васильевна, раскрыла сумку, достала рубашку, старенькую уже. Новая-то она, похоже, голубенькая была, а теперь уже вылиняла, белой сделалась.

— Мой, — говорит, — Генаша уже вырос из нее, в армии служит. На-ка, Шуронька, донашивай ее ты. Это тебе мой гостинец, благодарность моя.

И сует ему рубашку. А он не смеет взять, смотрит то на меня, то на мать.

— Бери, — говорю ему, — раз заслужил, сынок, значит, бери, не отказывайся.

Взял. Спасибо сказал. А Васса Васильевна еще и носки шерстяные вязаные достала. «И это, — говорит, — тебе. Зима ведь идет».

— Вот так, — и отец снова посмотрел на меня добрыми веселыми глазами. И мне сделалось радостно и от этого хорошего взгляда отца, и от того, что все так хорошо кончилось.

А отец продолжал:

— Ребятишки — я и не видел как — проснулись, смотрят с печки, все аж светятся — рады за Шурку. И мать рада. И я, Клавдия, рад. Всем хорошо, все рады.

— Спасибо, — говорю, — и тебе, Васса Васильевна, садись с нами за стол, поешь, чайку попей.

— Есть-то, — говорит, — я уже ела. А от чайку не откажусь, — и села рядом с Шуркой.

— И тогда, сынок, — отец обратился ко мне, лицо его вдруг посуровело, сделалось жестким, веселье потухло в глазах, но все равно они были добрыми. Строгими и добрыми. — И тогда я сказал своим детям: «Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом — вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете — знайте: все то проклято. Людьями проклято. Чужой хлеб — не насыщает. Чужая рубашка — не греет. Чужая слава — позорит. Чужое счастье — бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. И так пойдет до самого скончания рода человеческого. Меня этому учил мой отец, отца — его отец... Так идет с самого начала рода людского. По другому не было и не будет...»

Отец умолк. В избе сделалось тихо. Только одни настенные часы-ходики стучали: тик-так, тик-так... Однообразно и мерно они отсчитывали время, которому нет ни начала, ни конца. Тик-так, тик-так, тик-так...

— Вот и все, — отец бросил на сундук уздечку, поднялся. — Ну, отогрелась, Клавдия? Раздевайся, завтракать будем.

— Я уж завтракала.

— Может, кто и видел, а мы — нет. Раздевайся. Успеешь, разнесешь свою сумку. Если кому радость в ней — радость и получит. А кому горе, так, может, оно и лучше, если чуток поздней. Поедим, да и я пойду к следователю.

— А что ты ему показывать-то станешь? — спросила мать.

— Что знаю, то и покажу. Лишнего не наговорю...

Что вы добудете своим трудом, стараниями, потом — вот только то и есть ваше. А если что иначе добудете — знайте: все то проклято. Людьями про-

клято. Чужой хлеб — не насыщает. Чужая рубашка — не греет. Чужая слава — позорит. Чужое счастье — бедой вам обернется. У вас должно быть только ваше. И тогда вы будете жить покойно и радостно. Я говорю это вам, а вы скажете это своим детям, когда они у вас будут, а дети ваших детей скажут своим детям, а те своим. И так пойдет до самого окончания рода человеческого. Меня этому учил мой отец, а отца — его отец... Так идет с самого начала рода людского. По-другому не было и не будет...

Эти слова отца я помню всегда. Может, не всегда я в жизни своей следовал родительскому завету, в чем-то грешил против его простой истины, но, я знаю, что сделал бы в жизни гораздо больше дурного, если бы не помнил слов отца. Хочу, чтобы и вы постарались запомнить их и донесли бы до ваших детей, а дети ваши до своих детей... И так до окончания рода человеческого...

Директор совхоза Рогозин долго терпел пьянство тракториста Васьки Потапова. Но всякому терпению приходит конец. И директор издал приказ о переводе тракториста Потапова в грузчики на молочнотоварную ферму.

Васька, конечно, сильно расстроился. И сильно разозлился на Рогозина. Что с трактора снял — это еще ладно, полбеды. Начнется посевная — снова посадит, еще упрашивать станет. А вот обещанного к весне мотоцикла теперь Ваське не видать. Как собственных ушей. Теперь его очередь не вторая, а хвостовая, последняя. Без приказа понятно.

Тут уж было с чего напиться. Причина самая уважительная. И Васька напился. И на чем свет стоит стал ругать директора. Но что толку ругать? Вот досадить бы Рогозину чем-нибудь — это было бы да. Только чем бы досадить? Васька стал думать своей пьяной головой. И придум-



мал. Ловко придумал. Так ловко, что даже похвалил себя вслух:

— Молоток!

У Потапова была собака Пальма. Месяца два назад она принесла трех щенков. Все трое были черные, кончики хвостов белые. Прямо вылитые Трезор — директорский кобель.

— Отродье вонючее! Погань рогозинская! Не быть вашему духу в моем дворе!..

Скидал щенков в сумку и понес на речку — топить.

Двух он уже спустил в прорубь, достал третьего. И тут схватил Ваську за руку совхозный токарь Максим Кривощек, мужик пожилой.

— Ты что же, ирод, над животными изгаляешься?! — и отобрал щенка.

— Мои! Что хочу, то и делаю, — Потапов полез на соседа с кулаками. Максим толкнул Ваську в грудь ладонью, и Потапов плюхнулся в сугроб, как на пуховик.

— Тебя бы, паршивца, самого в прорубь головой, — сказал Максим, сунул щенка за пазуху и пошел домой.

Собак Кривощек никогда не держал. Не то чтобы не любил, а не видел в них никакой надобности. Поэтому Катерина, жена, удивилась, когда Максим добыл из-за пазухи щенка и опустил его на пол.

— Откуда ты его?

— С того света, считай.

И рассказал, как было.

— А нам на что он?

— Для веселья, мать. Ты же все жалуешься: дети разъехались, скучно в доме. Вот теперь и будем жить вчетвером: ты, я, Мурка да собака, — Максим поднял щенка, опрокинул вверх животом. — Кобелишка. Живи, карапуз.

Катерина подала ужин. Максим сел за стол. Чмокнув губами, подозвал щенка:

— А ну, иди сюда, барбос.

Щенок несмело приковылял от порога к ногам Максима, сел на задние лапы: «Что? Говори. Я слушаю».

— Так вот, брат. Не подоспей я, плыл бы ты сейчас подо льдом к морю-океану. Понимаешь?

Щенок моргнул и помолотил белым кончиком хвоста по полу.

— Ни черта ты не понимаешь. И не поймешь. В общем, спас я тебя. А за это ты мне будешь служить верой и правдой. Я тебе и имя такое даю — Верный. Понял?

Щенок мотнул головой и снова замолотил хвостом: «Все отлично понял».

— Ну и добро. А морда-то у тебя не бестолковая, гляжу, не-е-е-ет.— Максим выловил в тарелке кусочек мяса, бросил щенку. Щенок взял мясо, отнес его к порогу и принялся там есть...

Так началась его жизнь в доме Максима Кривошекова. Жизнь, в которой не было ничего примечательного. Правда, в самом начале у него сложились, было, не очень добрые отношения с Муркой, показавшейся Верному большой задирой. Когда Верный вполне дружески приближался к ней, она выгибала туловище подковой, оскаливала зубы, шипела и даже замахивалась лапой, норовя царапнуть. Верный ничем дурным не отвечал ей, и Мурка постепенно перестала задираться, свыклась. А потом они даже подружились и стали играть. Бывало, до того разойдутся, поднимут такой тарарам в доме, что Катерина прикрикивала на них:

— Ну-ка, прохвосты! Вот выброшу обоих на мороз и беситесь там! — и замахивалась тряпкой или веником.

Мурка и Верный разбегались по разным углам и притихали. Но ненадолго.

Катерина бранилась на них и смеялась:

— До чего ж озорники! Прямо беда! — наливала в чашечку молока. — Ешьте вот.

Верный не жадничал. Сидел в сторонке и терпеливо

ждал, когда налакается Мурка, а уж потом подходил к чашке сам.

— Гляди-ка, желтмен какой! — смеялся Максим, одобрял: — Молодец! Так, брат, и надо. Женскому полу почет и уважение. Умен!

Наевшись, собака и кошка укладывались на подстилке в углу возле сундука. Мурка клала на шею Верного лапку, мурлыкала и вскоре оба засыпали.

2

К лету Верный подрос. Ноги его выпрямились и подлиннели, вытянулось туловище, поднялись топориками уши, хвост свился бубликом, — стал вполне взрослым псом. А в деревне взрослых собак в доме не держат. Весной Максим сколотил возле стайки конуру, постелил соломы, позвал Верного:

— Вот тебе и твой терем, вселяйся.

Садить его на цепь Максим не стал. Для умной собаки, рассуждал Кривощек, цепь не нужна. Цепь для бестолочей. А бестолковой собаке в его дворе делать нечего.

Верный жил вольно, но не беззаботно. Были у него свои обязанности по дому. Когда Катерина уходила на ферму, а Максим в мастерские, Верный оставался хозяином двора и ревностно поддерживал надлежащий порядок.

Он не стоял, как часовой на страже, и не вертел головой по сторонам, не принимался, не настораживался. Верный спокойно лежал себе на солнышке или в тени, если день выдавался слишком уж жаркий. Прикрыв глаза, дремал. Но обстановку знал. Чутьем чуял, где что творится, кто что затевает. Курицы еще только высматривают, в какую бы дыру нырнуть, чтобы пробраться в огород на грядки — Верный уже тут. Клец, клец зуба-

ми — и хохлатки во главе с крикливым бестолковым пестухом ошалело мчатся, куда глаза глядят.

Одна стена стайки выходила на улицу. Земля возле этой стайки была унавоженная, мягкая, как пух. И почти целый день здесь был холодок. Это и привлекало сюда телят и свиней. Против телят Верный не имел ничего. Пожалуйста, приходите, ложитесь, как вам нравится, отдыхайте. Свиньям же такого Верный позволить никак не мог. Потому что вели они себя чисто по-свински. Видите ли, им, прежде чем лечь, надо вырыть яму. И не где-нибудь. Норовят под самый нижний венец стены подкопаться. За такое хамство Верный прогонял свиней прочь. Свиньи не связывались с ним. Боялись. Кроме одной. Старой, матерой. Уши у этой свиньи были большие, вислые, как лопухи за баней. Пузо тоже обвислое и чуть ли не по земле волочилось. Пятак самодовольно и нагло задран вверх. Очень противная свинья с виду. Правом и того противнее. Когда Верный приближался к ней, она смотрела на него ядовитыми белесыми глазками и продолжала подрывать стену. Верный рычал угрожающе. Тогда свинья нервно взвизгивала и, приоткрыв пасть, кидалась на собаку. Верный забежал сбоку и «щекотал» зубами одну ляжку свиньи, другую. Такая щекотка лопухой вредине не нравилась, она пронзительно, как если бы ее резали, визжала на всю Ивановскую, неслась под яр к ручью и скрывалась в зарослях ивняка. Дальше Верный ее не преследовал.

Постояв несколько мгновений и прислушавшись, он напружинивал ноги и бесшумно бежал вдоль забора к дальнему углу огорода. Обычно прибежал он сюда в самый раз. Оглядываясь по сторонам и пригибаясь, мальчишки перебежками пробирались по картофельной ботве к огуречным грядкам. Пакостники присаживались возле грядок на корточки и уже протягивали было руки к тугим, в пупырышках огурчикам, как перед ними выросла Верный.

— Гав!..

Мальчишки вздрагивали, подхватывались и, как курицы же, ошалело пускались наутек. Верный для порядка догонял кого-нибудь одного и хватал за штанину.

Огородом Верный возвращался во двор. Возле конуры его ждала Мурка. Грациозная, лучезарная, завидев Верного, она поднимала хвост дугой, выгибалась подковой, пыхала грозно, боком прыгала на шею другу. И они затевали игру. Которая, однако, не мешала Верному помнить о своих обязанностях.

Когда Максим возвращался с работы, соскучившийся по нему Верный не кидался на грудь хозяину, не заискивал, не визжал, а только улыбался с достоинством и молотил хвостом в знак приветствия.

— Здоров, здоров. Ну, как тут у тебя? — сухо вато спрашивал Максим. — Порядок? Ну, молодец.

Нежности были не в характерах хозяина и собаки. Их взаимная привязанность была гораздо серьезнее и выше внешних чувствоизлияний.

3

Очень уж быстро прошло веселое лето. Настала осень.

Жизнь Верного сделалась скучнее. Задули холодные ветры, часто шелестел дождь. Носа из конуры не высунешь. Да особо и незачем. Свиньи под стеной стайки уже не рылись. Мальчишки в огород не лезли — все убрано, и курам теперь можно было ходить по нему свободно, без опаски.

Мурка из дома выбегала лишь изредка и то не дальше крыльца. Ей, конечно, очень хотелось подбежать к Верному и поиграть, но она была неженка и боялась холода и дождя. Ступив на мокрую доску крыльца, она дрыгала лапками, жмурилась, как от яркого света, стремглав убегала в сени и мяукала жалобно, чтобы ей отворили дверь.

Тянулись однообразные серые дни, длинные, промозглые ночи. Скучно. Неуютно.

Но однажды произошел забавный случай. Может, самый забавный за всю жизнь Верного.

Мало, что Васька Потапов был добрый выпивоха, он был еще и бестолковый хозяин. Впрочем, причина его бестолковости в том и крылась, что часто заглядывал в рюмку. Зима на носу, а у Потапова — ни угля, ни дров. Как-то в воскресенье взял два ведра и пошел к Кривошековым — одолжить топлива. Хозяев дома не оказалось. Но не возвращаться же домой с пустыми ведрами. Подошел к углярке, набрал комочков получше и двинулся со двора. Верный, все время наблюдавший за Потаповым, вылез из конуры и, зарывав, преградил Ваське путь.

— Ты чего, рогозинская морда? А ну! — прикрикнул на него Васька.

Верный не тронулся с места.

— Ты глянь на варнака. Мой кобель и меня же не пропускает. Пошел, дерьмо! — возмутился Потапов и занес ногу, чтобы хорошенько пнуть собаку. Но не вышло. Верный пружинисто отскочил в сторону, тут же забежал сзади, уцепился за полу Васькиного пиджака, потянул на себя. Васька под тяжестью ведер потерял равновесие и упал навзничь. Ведра, посыпая двор углем, раскатились в стороны. Калоши, надетые на босу ногу, спали. Матерно ругаясь, Васька поднялся, вслепую нашаривая ногой калошу, с опаской и ненавистью смотрел на собаку, которая уже вновь стояла впереди, косо поглядывала на самовольника и порывивала. Потапов понял, что шутки плохи.

— Паразит! Выходит, на свою беду не утопил тебя. Чего звереешь-то, гад! Пусти!

Верный отступил на два шага и уселся на задние лапы, как бы давая понять, что отпускать Ваську он скоро не собирается.

— Подлюга! — выругался Потапов, но тут же подумал, что зря он так, надо попробовать лаской. Чмокнул сочно губами: — Верный, Верный. Ты же хороший. Пуст, дурачок. Ну? Верный!..

К Васькиным увещаниям Верный отнесся с полнейшим равнодушием. Отвернул голову в сторону, мол, и слышать ничего не желаю.

Оставалось Потапову одно: стоять и ждать, пока придут хозяева. Придти-то они, конечно, придут. Но скоро ли? А дождь между тем перешел из меленького в густой. Васька в пиджачке, накинутом на майку, без кепки, стоял, мок и ждал. Одно слева, другое справа, мокли опрокинутые ведра, мок просыпавшийся уголь. Сидел на задних лапах, мок и тоже ждал Верный.

Явившиеся из гостей уже в сумерках Максим и Катерина немало подивились тому, что увидели во дворе.

— Ты что ж это, брат, а? — строго сказал Максим Верному. — Нехорошо!

Верного эти слова ничуть не смутили. Он серьезно посмотрел в глаза хозяину и направился к конуре, считая свой долг выполненным.

— Вот паршивец! Ты уж не серчай, — повинился Максим перед Васькой. И тут же засмеялся не без издевки: — Видишь, какого молодца чуть не сгубил.

Васька, промокший до последней нитки, продрогший до костей, сверкнул глазами, выругался и пошел прочь, забыв о своих ведрах.

— Чего без угля-то? — напомнил ему Максим.

В ответ Васька зло стукнул калиткой.

Ударили первые заморозки. Сковало ручейки, болота, топи. Можно было вывозить сено. Покос в том году Максиму отвели в новом месте, за пасекой. И накануне того дня, когда обещали дать трактор, Максим решил пойти

и посмотреть, где можно лучше протащить стог, чтобы завтра не искать путь в потемках — вернее всего, трактор дадут только к вечеру. Было воскресенье, торопиться некуда, и Максим прихватил ружье. Не в пример своим деду и отцу, он не отличался страстью охотника, но, отправляясь в лес, двустволку брал. На всякий случай. Вдруг рябчик попадется, заяц вывернется или дикая коза. Коз в последние годы развелось в этих местах множество. Переломив ружье, Максим в один ствол вставил патрон, заряженный пулей, в другой — дробью. Закинул двустволку за плечо, позвал Верного:

— Пойдем-ка, брат, разомнемся. Может, зайца возьмем. Вдвоем-то мы его ловчее...

В нагом лесу стояла прозрачная хрустальная тишь. Природа отходила к зимнему сну. Шаги человека и собаки в этой тиши казались неуместно-звонкими, беспокоящими, слышными за три версты в округе.

«Какие тут рябки-зайцы», — Максим пошел без осторожности, не стал всматриваться, вслушиваться. Шагал вольно и глазом прикидывал, где будет лучше протащить стог, чтобы не завалился на бок, не зацепился за дерево или валежину.

Верный бежал впереди. Часто сворачивал в сторону, обнюхивал пни, совал нос в норы, чихал, фыркал, вертел головой, принимался яростно разгребать лапами, но, убедившись в бесполезности своих стараний, бросал нору и догонял хозяина. Увидев или услышав что-то интересное, снова бросался в сторону.

Стог стоял в ложбине поодаль от густого низкорослого осинника. С небольшого взгорка Максим заметил, что завершён стог не ахти как. Чуток бы покруче и поплавно надо было. Наверняка затек и сено подпортилось. Максиму не терпелось убедиться, так это или нет, и он ускори́л шаг. С ходу засунул руку как можно глубже в стог, вытащил клок сена. Вроде ничего — зеленое. Понюхал — прелью не пахло. Потер — сухое.

«Ну, а макушка-то наверняка подзаплесневела», — подумал Максим и отправил клок сена назад в проделанную дыру.

Не успел он еще вытащить руку назад, как почти над самым ухом его раздался трубно-оглушительный рев. Максим вздрогнул. Ему показалось, что вздрогнул, колыхнулся и весь лес, захохотавший эхом. Максим повернул голову вправо и остолбенел: вывернувшись из-за стога, шел прямо на него матерый, с проседью в лохмах шерсти медведь. Он косолапил на задних лапах, а передние с черными растопыренными крючьями когтей были вытянуты вперед.

Максима обдало жаром, кожу на голове стянуло, волосы шевельнулись, вздыбились. Медведь в двух шагах, не успеть ни вскинуть ружье, ни взвести курок. Максим смотрел на растопыренные когти зверя, на раскрытую, сочащуюся слюной пасть... Никакого спасения от этих когтей, от желтых клыков. Еще мгновение — и все, смерть.

Предвкушая добычу, медведь победно взревел. И вдруг этот рев перекрыл острый пронзительный визг. Выскочивший из мелколесья Верный со всего маху вскочил на горб зверю, вонзил клыки в загривок. Максим сделал шаг назад, увидел, как медведь качнулся, потерял равновесие, стал крениться на бок. Больше Максим ничего не видел...

Он ничего не видел, не слышал, не помнил все два с половиной километра. Пришел в себя возле дома. Сердце стучало молотом, тело тряслось, ноги подкашивались. Максим опустился на осиновое бревно, лежавшее возле самых ворот. Приклад двустволки уперся в дерево, ремень соскользнул с плеча, ружье упало к ногам. «Верный!» — больно кольнула мысль. Надо было сейчас же

поднять ружье, подняться самому и бежать назад, к стoгу, но никаких сил у Максима не было.

«Верный! Да как же это я... Оплoшал, мерзавец...» — Максим застонал протяжно.

Зачем-то выйдя на крыльцо, Катерина увидела за воротами мужа, сидящего в необычной позе. Отворила калитку.

— Отец, ты чего это?

Максим поднял на жену бессмысленные глаза.

— Да ты выпивши, что ли?..

— Медведь...

— О, господи! — Катерина в испуге всплеснула руками. — Да хоть живой ли ты?

— Живой... не видишь... А вот Верный-то пропал...

Катерина подняла мужа, с трудом ввела в дом. Дала выпить валерьянки, еще каких-то капель.

— Пропал, мать, Верный...

— Слава богу, сам живой остался. Ты приляг на кровать.

— Какой приляг! Дай ружье, — Максим попытался встать, но из этого ничего не вышло. — Погубил... Пропала собака...

5

Верный, свившись клубком, откатился в сторону. Теперь должен был действовать хозяин. Верный надеялся, ждал. Но так не получилось.

Боль, причиненная собакой, подняла в звере всю ярость. Позабыв о человеке, он ринулся на собаку, лежавшую на спине, вонзил в нее когти. Верный укусил медведя за лапу. Медведь взревел, разжал когти. Верный, перевернувшись через голову, прыгнул в сторону, потом еще и еще. Оказавшись в чаще осинника, пополз. Медведь, скуля, теребил зубами укушенную лапу. Когда вспомнил о враге — его уже не было рядом...

Верный полз по жухлой траве, усыпанной полинявшими осиновыми листьями, оставляя за собой кровавый след. Полз, пока были силы. Возле старого пня, поросшего зеленым мхом, прилег на бок. Грудь жгло. Передняя левая лапа ничего не чувствовала, была неживой. Очень хотелось пить. Крохотный островок инея на бархатинках мха от частого дыхания собаки растаял, превратившись в росинки. Верный со стоном слизнул их и закрыл глаза.

Лежал он долго. Мало-помалу дыхание выровнялось. Но боль в груди не унималась, только сделалась тупой, ноющей. Сделав усилие, Верный поднялся. Передняя лапа была безжизненной. Он, преодолевая боль, поковылял туда, где кусты были пореже и было светлее.

6

— Да в уме ли ты,— плача, говорила Катерина.— Ночь уже скоро.

Ничего не отвечая, Максим закинул на плечо ружье и вышел из дому.

Открыв калитку, он остановился и не поверил своим глазам.

Возле осинового бревна лежал Верный.

— Пришел! Верный! Живой! — радостно воскликнул Максим и шагнул к собаке. Но Верный, чуть приподняв голову, предостерегающе зарычал.

— Ты чего? — удивился Максим.— Ты чего? Друг ты мой?..

Дыша резкими толчками, Верный смотрел перед собой туманным сонливым взглядом.

— Обиделся? Ну прости, брат, если можешь. Оплошал я. Прости. Ну иди домой, иди,— Максим хотел склониться к собаке. Верный опять зарычал, зло, отчужденно.

Верный отвел взгляд в сторону. Максим замылся. Выдохнул горестно и смотрел на своего спасителя. Шерсть на нем была взъерошена, на боках и спине торчала клочьями. Левая передняя лапа будто вывернута, на ней запеклась кровь. Одно ухо завяло и тоже в сгустках крови.

— Вот беда-то, — выдохнул Максим. — Пострадал ты, брат... Ну ступай во двор. Голодный ведь...

Верный был глух к словам хозяина. Максим повернулся, пошел в дом.

— Пришел Верный, — сказал Катерине.

— Пришел?! Ну, слава тебе, господи!

— Налей ему чего. Пусть поест.

Катерина налила в алюминиевую чашку щей, положила кусок мяса, крошила хлеба.

— Горячее. Пусть поостыло бы...

— Где горячее-то, — Максим отнял у жены чашку, пошел на улицу. Катерина — следом за ним.

— На-ка вот...

Но Верного возле бревна уже не было. На то место, где он лежал, падали легкие редкие снежинки. Максим пожал плечами, посмотрел по сторонам, позвал:

— Верный, Верный... Да куда он делся? — проворно пошел во двор, заглянул в конуру, она была пуста. — Где же он?..

Катерина боязливо покосилась на мужа.

— А не почудилось тебе?

— Чего почудилось-то?! Чего почудилось?! Когда вот здесь только что лежал... Верный! Верный! — звал Максим и смотрел в сгущающиеся сумерки. Отдав Катерине чашку со щами, он обошел вокруг погребка, спустился к речке, вернулся, прошел до совхозного телятника и все звал Верного. Но ничего не слышал в ответ, кроме посвиста усиливающегося ветра. Верный исчез загадочно и бесследно...

— Не сняв фуфайки и шапки, не скинув сапог, Максим, ссутулившись, сидел возле кухонного стола и смотрел в окно. За ним чернела ночь, завывал ветер, по стеклам сухо шуршал снег.

Катерина в горнице разбирала кровать.

— Уймись, отец. Что теперь делать-то...

Максим молчал.

К ногам его подошла Мурка, заглянула в глаза, мяукнула, прыгнула хозяину на колени. Максим погладил ее по спине.

— Нету твоего дружка. Так-то вот...

В это самое время с улицы донеслось:

— Ву-у-ув... — и растворилось в тоскливом завывании ветра. Максим встрепенулся, напряг слух. За окном кружил и выл только ветер.

«Почудилось», — решил.

И вдруг снова. От ворот, не дальше:

— Ву-у-ув...

Максим поспешно вышел на улицу. Открыл калитку, позвал:

— Верный! Верный!..

Неся белое крошево, гудел ветер.

«И впрямь, что ли, почудилось, язви ее».

Вернулся в дом. И вскоре опять, теперь уже от бани:

— Ву-у-ув...

— Слышишь? — сказал Максим Катерине.

— Что?

— Воеет. Верный это.

Катерина прислушалась.

— Да то ветер в трубе.

— В какой там трубе! Верный это...

— Ву-у-ув...

— Слышишь? Слышишь?

Катерина с затаенной тревогой посмотрела на мужа.

— Чудится тебе что-то, говорю...

— Заладила: чудится, чудится! — в сердцах сказал Максим и кинулся в дверь.

Он осторожно пробрался к бане, обошел ее кругом, заглянул в предбанник — нигде никого.

— Верный! Дружок ты мой. Чего мучаешь-то, а? — дрожащим голосом взывал Максим в темень. — Будет тебе душу-то изматывать. Иди домой. Ишь, непогода-то какая разгулялась...

Ответом Максиму было только завывание и посвист бушующей вьюги...

Катерина встретила Максима печальным вопросительным взглядом.

— Нету...

— Не майся, отец. Ляг, усни.

— Лег бы, когда б знал, что усну... Сама-то ложись. Тебе-то чего? Мой грех — мне и маяться.

— И что за день такой. И что за наваждение, — вздохнула Катерина. Выключила в спальне свет, легла. Но Максим знал: уснуть она тоже не сможет...

Уже за полночь Максим снова услышал холодящее, корбящее душу:

— Ву-у-у-ув... Ву-у-у-ув...

— Мать, слышишь?

— Да вроде как... — отозвалась Катерина. — Он вроде...

— От речки? — Максим встал. — Из кустов?

— Вроде бы...

— Вокруг дома кружит. Чего кружить-то?..

Максим спустился к кустам. Он уже не звал Верного, только молил:

— Ужель сердца в тебе нет, а? Что со мной и собой делаешь?.. Виноват я, понимаю. Прости. Оплошка вышла. Прости, друг любезный ты мой...

А кругом были черная ночь да белая вьюга...

Максим в тревожном напряжении прислушивался к тому, что делалось на улице и думал, пытался разобраться, понять, как, отчего все это случилось.

От страха, от боязни смерти?..

Страх был, конечно. Только мертвые не боятся смерти. Но ведь и раньше Максим переживал всякое. К примеру, в сорок четвертом, под Кривым Рогом. На них, дюжину бойцов, оставшихся от батальона, шло восемнадцать танков... Нет, если в те молодые годы, когда очень хотелось жизни, потому что еще ничего не успел в ней испытать, он мог подавить, смять в себе страх и заглянуть в самые зрачки смерти, не надеясь на ее милость, то минувшим днем он умер бы легче: считай, все уже пережито, испытано...

Так что же тогда?

Посчитал, что собака она и есть собака?

Нет, Максим любил Верного не меньше, чем человека родного и близкого.

И все-таки что же?..

Слишком неожиданно все получилось. Рассудок поразило, не сам собой управлял, кто-то другой. Тот, кто заставляет тебя пригнуться, когда летит в тебя камень, кто велит дуть на чай до того, как убедишься, что он холодный. Вот этот другой и руководил Максимом вчера. Потом пришел в себя, опомнился, да уже поздно... Так объяснял Максим случившееся. Только объяснял. Но не оправдывал себя. Понимал: оправдывайся, не оправдывайся, а грех, вина останутся на душе его. На веки вечные...

Время уже было к утру. Ветер за окном стал стихать, снег перестал шеборшать по стеклам. Измученный переживаниями и думами, Максим незаметно для себя задремал, облокотившись о стол и прислонившись спиной к стене.

Началась какая-то путаница в голове, полезли кошмары. Максим видел танки. Они шли на него. Схватив связку гранат, Максим изо всех сил метнул ее вперед. Но она упала в двух шагах от него и превратилась в беремя осиновых поленьев. А танки медленно, с ревом поднялись на дыбы и пошли на задних лапах. Они превратились в стадо лохматых медведей и шли прямо на Максима. «Беда! Смерть!» И тут откуда-то вывернулся Верный. Почему-то голый, без шерсти. «Верный!» — обрадовался Максим. — Ты пришел! Верный!» — и кинулся к собаке. Его окутал огонь, дым. Сделалось жарко, удушливо...

Максим очнулся.

9

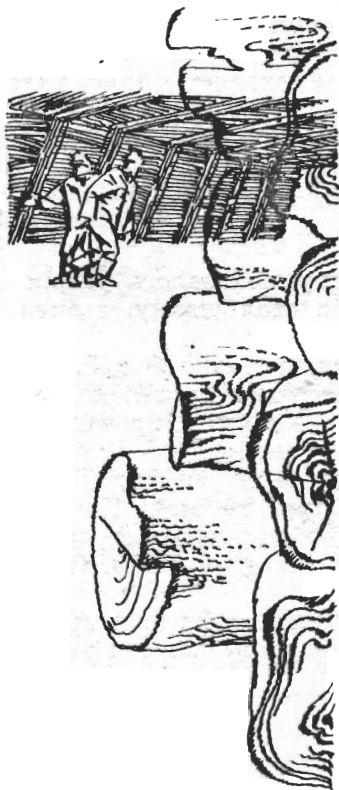
Уже почти рассвело. Максиму показалось угарно в избе. Он надел свалившуюся на стол шапку, вышел в темные сени, открыл дверь на улицу.

И увидел: двор был весь ослепительно белый, будто покрытый большой чистой скатертью. Такой же белой скатертью было убрано крыльцо. А на нем, преданно положив голову на порог, лежал Верный.

— Верный! — вскричал Максим и опустился перед собакой на колени. — Пришел! Друг ты мой! Простил!..

Максим бережно погладил собаку ладонью по шерсти. Верный не ответил ни единым движением. Он был тепл еще, но уже мертв.

Он простил своему хозяину. Словно бы понимал, что если бы не Максим, у него не было бы даже и этой короткой жизни.



Горняки получали наряды и уходили в мойку переодеваться. В раскомандировке перед столом начальника участка нас, такелажников, осталось трое. Пожилой рабочий с одутловатым смуглым лицом и сонливым взглядом, другой — лет тридцати трех, может, поменьше, щупловатый, сутулый, с тонким, круто вздернутым, словно бы перебитым, носом, а между ними — я, новичок.

— Значит, так, — начальник участка поиграл как по клавишам, пальцами по столу, поднял глаза на пожилого, — вы, Сараев, и ты, — не останавливая взгляда на мне, перевел его на молодого, — Логачев, пойдете на двенадцатый участок... Там на промштреке есть рештаков, наверное...

— Тридцать — тридцать пять, — подсказал Сараев.

— Да. Где-то так, — согласился начальник. — Так вот, ваша задача: поднять рештаки на основной штрек, погрузить и отадресовать на девятый участок.

Сараев молча кивнул, мол, добро, понято. И встал.

— В помощники даю вам вот этого,— начальник указал глазами на меня,— молодого человека. В шахту спускается первый раз. Так что...

Сараев опять кивнул. Логачев, поднимаясь, стрельнул в меня коротким, не очень дружелюбным взглядом, и мы все трое пошли в мойку.

Раздевались молча. Логачев, разглядев меня от шевелюры до пяток, скривил нос и губы, ехидно хмыкнул:

— Откуда взялся-то?

— Откуда и ты,— парировал я.

— Гляди-ка, шустряк! — Логачев дернул головой.— Спрашиваю, на шахту как попал?

На шахту я попал очень просто. Учился на втором курсе горного техникума и вдруг увлекся. Нет, не девушкой. Произведениями Антона Павловича Чехова. Увлекся до того, что жертвовал для чтения их не только свободное, но и все то время, которое должен был отдавать физике, высшей математике, электротехнике и другим дисциплинам, далеким от беллетристики. В результате во время экзаменационной сессии я получил два неуда и, естественно, был снят со стипендии, которая была единственным источником моего существования. Рассчитывать на помощь отца-пенсионера я не мог и не смел: вкус к произведениям Чехова он мне не прививал.

Очутившись в пиковом положении, я из книжного мира вернулся в мир реальный, пораскинул умом и решил: переведусь на вечернее отделение и пойду работать в шахту.

Против моего перевода на вечернее отделение никто возражать не стал. Даже напротив, классный руководитель, который за два года немало потратил на меня нервов, сказал:

— А ты не глуп — верный путь к поумнению избрал.

В отделе кадров шахты спросили:

— Такелажником на монтажный участок пойдешь?

— Пойду.

Так что все вышло довольно просто.

Не придавая никакого значения откровенному ко мне нерасположению Логачева, я достойно, даже не без гордости так и объяснил ему: учусь на вечернем отделении техникума, а теперь вот буду еще и работать.

— Хэ! Работать! Посмотрим... Такелажничать тебе не это... не на парте сидеть да пописывать. Тут надо мантулить. Круглое — катать, плоское — таскать. Попадаетея все больше плоское. А таскать-то ты, вижу, непривычный.

— Откуда знаешь? — спросил я безразличным тоном человека, считающего, что упреки в его адрес неосновательны и что неосновательность эта подтвердится в ближайшее же время. Я считал, что на такой тон имею полное право: всерьез мне работать приходилось. И дома, и в колхозе, когда ездили на уборочную, и в строительной бригаде во время каникул. И бывало, меня похваливали за сноровку и расторопность.

— Брюшко-то вон какое успел отростить. Хоть щас главным инженером ставь.

Кругленький, розовотелый, будто только что из парной, Сараев глянул на Логачева, на меня и, сбросив кальсоны, заметил с добродушным смехом:

— Это, Митька, если сравнивать его с твоей худобой, то он вроде как и с брюшком. А так — ничего. Парень как парень.

— Может, и ты — парень? — Логачев ехидно гыгыкнул и показал пальцем на животик Сараева.

— Я чего? Я, считай, старик уж. А ты своей Бальке скажи, мол, дядя Петро велел диету-то усилить, а то, как разденусь, так за магазинного петуха последнего сорта принимают. Хи-хи-хи...

Нагой Митька Логачев и точно походил на общипанного петуха. Худой, сутулый, длиннорукий, длинноногий, впалая грудь, тело что вечерние сумерки — фиолетовое,

лицо не по годам морщинистое, как перезимовавшая в тепле редька, головка маленькая и, как редька же, приплюснутая сверху, на макушке хохолком торчит клок волос.

— При таких заработках усилишь диету,— брюзгливо возразил Митька Сараеву.— Получишь всего ни хрена да еще маленько и не знаешь, куда деть.

— А ты ступай, где больше платят. На уголь иди. Там, Митька, как лопата — так десятка.

— Ты ж работал на угле. Чего ушел-то?

— Я не сразу ушел. Восемнадцать лет отработал в лаве. А теперь старый, говорю, стал. В лаве, брат, сила нужна. Верблюжья. С твоими мощами там, конечно, делать нечего.

— Ох и политикан ты, Сарай,— нервно сказал Митька, надевая каску.

— А ты? Не политикан? Хотел бы и рыбку съесть, и ни на что не сесть. Так, Митька, не бывает.

— Хоть щас тебя в лекторы.

Сараев махнул рукой.

— Ладно...

И по тому, как досадливо произнес он это «ладно», можно было понять, что подобный разговор между ними происходил не впервые.

Шахта есть шахта. С тем, что на поверхности, поднатужась и крикнув, взвалишь на хребет и потихоньку да полегоньку потащишь, куда тебе надо, под землей не вдруг совладаешь — темно, тесно, душно, сыро, аммуниция мешает. Рештак — металлический желоб, составная часть конвейерного транспортера — вроде бы и не такая уж великая тяжесть, всего каких-нибудь тридцать пять килограммов весит, а так просто его не возьмешь. Начнешь поднимать — он за крепежную стойку проушиной или соединительным крючком зацепится. Вот и дерга-

ешь его, так-сяк крутишь. Освободил, наконец. Поднял его, подставил спину, опустил. Сделал первый шаг — рештак уперся торцом в огниво — верхнее звено крепежной рамы. Руки скользнули по бортам рештака вверх, чуть в плечак не вывернулись, каска вместе с укрепленной на ней головкой светильника соскользнула с головы, упала под ноги. Нагибаешься за ней — рештак на тебя давит, выпрямляешься — давит...

На основном штреке уложишь рештак в штабель и снова вниз — за следующим. Пока спускаешься — остынешь, успокоишься, поболеешь. Даже песенку себе под нос замурлычешь — все хорошо.

А потом со следующим рештаком маешься.

Маюсь я. Мается дядя Петя Сараев. Мается Митька Логачев. Но если мы с дядей Петей — молча, то Митька визжит истерично, матюкается. Богов, попов, крестителей, чертей и ангелов — всех поливает. Будто это они виноваты, что в шахте тесно, темно, душно, сыро.

— Да ты поспокойней. Не дуроломь! Сноровкой, Митька, сноровкой бери, — время от времени замечает ему дядя Петя.

Но где ее, сноровку, взять, если ее нет.

А вот ловкачество, густо замешанное на бессовестности и наглости — это у Митьки в наличии.

И Митька находит другой выход.

— Мммм, японский бог! — стонет он, скривившись — Так и знал...

— Что знал?

— Вчера, когда цепи грузили, застудился. Теперь вот под лопаткой закололо. Вы это... Давайте так: я один буду до уклона рештаки выволакивать, а вы их потихоньку по уклону. Как, Сарай? Идет?

До уклона стаскать рештаки не так уж трудно. Тут всего каких-нибудь метров двадцать пять. А по уклону — все сто. Если не больше. Да и вверх же. Да еще по мокрой осклизлой почве. Вот уж точно — хитрый Митрий.

Я новичок. Мое дело помалкивать. Пусть дядя Петя говорит. Я бы на его месте возмутился Митькиной наглости. А он спокойно так, даже рассудительно сказал:

— Не, Митька, так хуже будет. Самое-то главное — его там, в штреке, на себя взять. А на уклоне-то попросторнее — значит, проще. Чего ты будешь кажильться? Зачем тебе это? Вчера, говоришь, застудился, сегодня пуп надорвешь, грыжу наживешь. И все из-за железа. А оно ведь дурное, чести не понимает.

Митька понял: его номер не пройдет. Сказал кисло:

— Ну, нет так нет. Я ж хотел, как лучше.

— Бери и неси. Вот и будет как лучше, — Сараев улыбнулся мне с лукавинкой.

Восхищенный дядей Петей, я засмеялся. Митьку это, конечно, разозлило.

— Чего, инженерик, радуешься?! Чего ржешь-то? А ну, давай, пошевеливайся!

И сам Митька вдруг сделался суетливым, озабоченным, мол, давайте по-гвардейски, поскорее разделаемся — и на-гора. А если будем «телиться», то на завтра останется. Деловым захотел показать себя Логачев. Только ведь видно, все видно. Мы с дядей Петей по три рештака поднимем, Митька — два. И то не каждый до конца. Я спускаюсь порожняком вниз, на полдороге встречается Митька с рештаком.

— Ну-ка, инженерик, прими. Тут два шага. А я мигом за следующим. Так скорее будет... Да ты пошустрей, пошустрей!..

И я тащу Митькин рештак. Отказаться как-то не смею. Митька наглый, а я всего лишь новичок. На плечи дяди Пети Логачев свою ношу перекладывать не осмелится, знает, что не выйдет.

Кроме силы и желания работать в любом деле нужна еще втянутость. Втянутости у меня не было. И я вскоре стал сдавать. Митька заметил это тут же и не преминул повлорадствовать:

— Ну что, инженерик?! Сперва не прытко, а потом и вовсе потише? Я же говорил! Это тебе не в тетрадке чиркать. Тут надо вкалывать. Ты давай, давай! Наряд-то всем троиm одинаково закроют.

— А на болтовню, Митька, сила тоже расходуется. Экономь силу. Не все еще рештаки...— Сараев провел рукавом брезентовой куртки по мокрому лбу.— Будь они неладны. Наверно, давайте-ка разделаемся с тормозками. Глядишь — сил и поприбавится.

Сараев и Логачев достали из карманов бумажные свертки — «тормозки», сели в основном штреке на рештаки. У меня тормозка не было — не успел после наряда забежать в буфет. А если уж говорить честно, то забегать туда мне было не с чем. Я отошел в сторонку, опустился на обрубок деревянной стойки, снял с каски головку светильника, погасил свет, расслабился всем телом и привалился к борту выработки.

Из темноты мне было хорошо видно, как дядя Петя аккуратно и неторопливо отрезал складным ножичком кусочки вареного мяса, отправлял их в рот, откусывал хлеба и тщательно разжевывал, беспредметно смотря перед собой. Я слотнул слюну. В пустом животе противно заурчало и стало посасывать. Я оторвал взгляд от дяди Пети, но он остановился на Митьке. И мне в тот же миг вспомнился наш кот Васька, никудышный крысолов и большой жадюга. Кинешь ему рыбешку, он ее цап зубами — и в дальний угол. Ест с хрустом и мокрым чавканьем, зло урчит и озирается по сторонам: не отнял бы кто. А отнимать-то кому бы? Вот и Митька тоже. Отвернулся от Сараева, сгорбился, двумя руками вцепился в кусок сала, зубами рвет его, теревит так и сяк — жилистое, видно, сало, с брюха свиньи, что ли. Оторвал клоч, жует, чавкает и жмурится. Губы и подбородок Митьки блестят от жира. Противно на него смотреть. Я закрыл глаза.

— А где это хлопец наш? — вспомнил вдруг Сараев,

и по моему лицу скользнул луч света.— Эй, а ты чего не заправляешься? — И сразу же догадался: — Э-э-э, брат, так нельзя. Под землей без тормозка делать нечего. Тещ тут нет, буфетов тоже. А ну, иди сюда.

— Я не хочу.

— Ты мне сказки брось. Не хочет он. Ты голодный — значит, мне за тебя работать. А тут за себя бы хоть. Нет уж. На-ка вот, возьми... Да ты вставай, вставай...

— Да он налопается и совсем рассупонится, — Митька гыгыкнул и рыгнул.

Дядя Петя протянул мне кусок хлеба с пластиком мяса и яйцо.

— В следующий раз, парень, знай...

Очищая яйцо, я бросал скорлупки на пол. Дядя Петя остановил меня:

— погоди, — и положил на мои колени газетку. — Собирай сюда.

— Чистоту в штреке соблюдаешь, Сарай? — съехидничал Митька.

— А ты тоже: что не доешь, на бумажку положи. Завернем, за борт спрячем — горному.

— Кому-у-у? — Митька перестал чавкать, непонимающе уставился на Сараева.

— Горному, говорю.

— Мастеру, что ли?

— Горный — это... ну, вроде шахтерского бога.

— Никакого бога, Сарай, нет.

— Ну, нету. И что?

— Так кого ж ты тогда кормить собрался?

— Привычка. Так дядя учил. Когда он работал в забое, тогда горный был.

— Тогда! А теперь издох?!

— Теперь, Митька, и шахта и люди другие стали. Вот и нету горного. Не нужен стал. А раньше в него верили. Он шахтеров от завалов оберегал, предупреждения

делал. За это люди одаривали его. Хлебца, сольки, еще там чего оставляли ему.

— Ну и что? Съедал он?

— А как же? Съедал.

Митька захохотал.

— Дураки! Да то ж крысы съедали!

— Пусть крысы. Главное, люди-то верили, что горный. Верили и легче им было, не так страшно.

— Нет, дурной был ранешний народ! Выдумывали всякую муру...

Дядя Петя помолчал, подумал, сказал:

— Вот смотрю я на тебя, Митька. С виду вроде человек, как все. Руки, ноги, голова — все есть. А в середке чего-то нет. Не вложено в тебя самой крохи, малости. А она — малость, да шибко человеку нужная... Ты, колчедановая твоя башка, — голос дяди Пети сделался вдруг напористым, жестким, — не понимаешь, что люди спасибо да верой весь свой век живут. Спасибо за добро да верой в добро. Сам-то горный кому он нужен был? Вера нужна была, что есть он, добрый. Уберег от беды — значит, добрый, с кем случилось что — значит, недоволен, сердится. Не от дурасти, как ты думаешь, а от страха да темноты шло все.

— Нет, Сарай, ты точно политикан.

— А ты как думал? — дядя Петя закончил еду, сложил ножичек, сунул его в карман. Замотав головой, засмеялся тоненько. — Случай забавный вспомнился.

— Травани.

— Это еще однако году в тридцать втором было. Шахта еще штольневой горизонт обрабатывала. Раз начальник второго участка провел наряд, отправил людей в шахту по отделам, каким надо, походил, какие надо, дела справил, переоделся и тоже в забой пошел. Только до штольни дошел, а рабочие его что есть духу с выпученными глазами навстречу ему прут толпой.

«Стой! — кричит начальник. Чего?! Куда?!»

А народу тогда тут всякого бога было: и татары, и вятские, и чувашы, и пермяки. Кричат все разом:

«Леший!»

«Шайтан!»

«Черт!»

«Горный!»

Начальник ничего не понял.

«Да растолкуйте, — говорит, — кто один».

Растолковали ему: пришли на участок, а там кто-то рогатый как затопает, как глазищами засверкает, да как заорет. Ну и народ тоже заорал со страху — и деру. Начальник не поверил. Говорит, работать не хотите, вот и выдумываете разных шайтанов да горных.

«А ну, айда!» — и сам вперед.

Рабочие за ним, но неохотно, шагов так на двадцать отстают. Подходит начальник смело так к забою, спрашивает:

«Где тут ваш черт?»

А «черт» взял да и подал голос. Начальник дурнинушкой:

«Караул!!!» — и пулей вперед рабочих своих — хорошо бегал.

Ну и что вы думаете? По всей шахте паника. Черт под землей сидит! Никто в забой не идет. Кому хочется черту на рога? Никому. А уголь-то добывать надо. Уголь требуют. Начальство-то и растерялось. Что делать? Ясно, что черта выгонять. Но как? Вот вопрос.

Нашелся смельчак. Семка Рукавишников, проходчик с подготовительного участка. Забудыжный был немного мужик. Приходит к начальнику шахты, говорит:

«Так и быть, выгоню из шахты черта».

Начальник ему:

«Ой, братец, сделай такое одолжение!»

«Но я, — говорит Семка, — не за так».

«Известное дело, проси, что хочешь».

«Три бутылки водки. Только, чур, наперед».

Начальник дает распоряжение, приносят водку. Семка тут же прямо открывает одну поллитровку, раскрутил ее винтом и в рот: буль, буль, буль...

«Это,— говорит,— для храбрости,— две другие в карманы запихал.— А эти,— говорит,— чтобы с рогатым сговориться, и за твое, начальник, здоровье выпить с ним».

И пошел Семка из кабинета начальника прямо в шахту. Совсем быстро обернулся. Идет и козла за рога тащит. Смеху было! А еще пуще смеяться стали, когда узнали, что козел-то этот Семкин же и был. Возле шурфа пасся и свалился, дурак...

— Не козел, а Семка дурак-то! — Митька с досадой матерно выругался.

— Чего так?

— Дурней дурака! Три бутылки! Да я б на его месте заломил такое... И никуда не делись бы. План ведь горит! Да за план начальник шахты что хочешь отдал бы! Простофиля!..

Сараев исподлобья пристально осмотрел Митьку.

— Ох, парень, до чего ж ты все-таки...

— Чего?

— Глаза, говорю, у тебя завидующие, руки загребущие.

— Если деньга сама в руки плывет, чего ее упускать?

— Жадюга ты, Митька. Ой, жадюга.

— Ну ты, Сарай, поосторожнее. Понял?

— А чего мне осторожничать? В соседях живем. Вижу.

— Что ты видишь-то?

— А вот давай, Митька, рассудим так. Сам ты получаешь. И не так уж плохо... Ты молчи, молчи... Валька в ламповой работает, может, чуть меньше твоего получает. У тещи — какая-никакая пенсия, твой хлеб не ест, да круглый год приторговывает: то огурчики, то лучок,

то помидорчики, то ягодки на базар тащит. Свинью каждый год выхаживаете — мясо свое. Яйца — свои. Иждивенцев — один Витька. На что деньги тратишь?

— А что, думаешь, мало расходов?

— А вот расходов что-то и не видно. Что — дом у тебя как дворец, а в дворце этом — ковры, меха, шифоньеры? Золотые часы носишь? На Вальке твоей шелка?..

— А у тебя? Ты на угле работал...

— Ты меня с собой не равняй. Я четверых детей воспитал. Баба ни дня на производстве не работала — дома дел хватало. И все равно — что надо, все у меня есть. Сколько получал, столько и тратил — на дом, на семью. А ты-то вот свой капитал куда складываешь? На книжку?

— На книжку! — хмыкнул Митька. — Да у меня ее сроду и не было.

— Говори.

— Проверь. Проверь!

Сараев махнул рукой.

— На что мне это нужно: чужие деньги проверять. Хозяин — барин. Куда хочешь — туда и девай. Мне бы одно: чтоб меньше стонал, что мало тебе платят. Слушать уже тошно. Ну сколько тебе надо, чтобы ты насытился? Может, миллион?

— Миллион? — Митька осклабился. — А что? Давай, я не откажусь.

— Ну, допустим, дал я тебе миллион. И что бы ты с ним сделал? Как распорядился?

— Хо-о-о, мать честная, спрашивает он. — Митька заерзал на рештаке, сдвинул на затылок каску. — Я б...

— Ну, ну? — любопытствующе улыбаясь, Сараев смотрел на Митьку, ждал, что он скажет.

— Сперва пальто бы себе справил. Хорошее. Драповое. С черным каракулем...

— Это две с половиной сотни. Дальше?

— Костюм... Туфли...

— Еще две сотни. Хотя и многовато. Но пусть. На обмывку ведь тоже что-то уйдет. Ну, а дальше? Вальке-то что справил бы? Доху цигейковую?

— Где ее возьмешь? Да и зачем она ей?

— Ну пальто новое. То-то, в котором она ходит, не очень уже.

— Чего не очень-то? На две зимы еще вполне хватит...

— О! Ну, не жадюга ли ты? У тебя ж миллион!

— Ну ладно, Сарай, куплю, куплю ей новое пальто!

— В уцененном магазине? Ну пусть хоть такое. Еще куда растрачивать деньги будешь?

— Крышу дома починил бы.

— А новый строить не хочешь?

— Зачем он мне?

— А Витьке? Он ведь женится, дети пойдут.

— Пусть еще сам вырастет.

— Но все это, вместе с домом — мелочи. А у тебя миллион! Тыща тыщ! Смыслишь? Тут надо что-то такое... Ну?..

Митька поскреб затылок.

— Во-о-о. Схапать-то миллион схапал, а как распорядиться, и не сообразишь.

— Не волнуйся, соображу.

— Так скажи.

— А чего ты меня пытаешь? Куда хочу, туда и дену. Мой миллион!

— Твой, твой, — засмеялся дядя Петя и поднялся. — Вставай, миллионер, пойдем рештаки донашивать. Теперь тебе, богатому, может, и все равно, а нам с парнем надо хоть по сколько-нибудь заработать сегодня...

Каждую смену мы так и ходили втроем: дядя Петя Сараев, Митька Логачев и я. Доставляли в шахту или с

участка на участок или выдавали на поверхность электродвигатели, разную аппаратуру, комбайны, металлические крепь, рештаки, насосы — да мало ли что. Для такелажников работа всегда есть. Нет своей, дадут чужую: грузить инертную пыль, цемент, доставлять в лаву лес или перестанавливать скребковые конвейеры...

В конце месяца на шахте объявлялись дни повышенной добычи, они и сейчас объявляются, только называются немного иначе — дни высокопроизводительного труда. Возможно, в будущем их станут называть еще иначе, но суть таких дней все равно останется прежней. Это всего-навсего авральные дни. Месяц кончается, а плана нет. Вот и перебрасывают в срочном порядке с других участков на добычные все, что только можно — людей, материалы, оборудование... Жажнули хорошенько, наверстали упущенное за месяц, и снова все и всё по своим местам до конца следующего месяца.

В тот день как раз объявили повышенную добычу и нас отправили на перестановку конвейера в лаву десятого участка. Перестановка — дело в общем-то нетрудное. Нужно разобрать конвейер, по частям перенести на другую дорожку, поближе к груди забоя, и снова собрать. Лава на десятом участке была небольшой длины, стоял всего один конвейер, и задание наше было тем более легковыполнимым. Мне поручили разбирать и собирать рештачный став, а дядя Петя с Митькой принялись за перестановку привода.

Сделав все, что требовалось, я подошел помочь Сараеву и Логачеву.

— Тут, парень, и вдвоем-то тесно, — возразил дядя Петя, — посиди в сторонке, отдохни. Мы уже тоже кончаем.

Я отошел к костру и сел на почву. Костер — это разновидность крепи, которая возводится на сопряжении лавы и штрека, где особенно большое давление. Представить костер очень легко. Именно костром складывают

наколотые дрова, чтобы они скорее сохли. Параллельно друг другу на землю кладут два полена, на концы их и поперек им два другие, поперек этим — следующие два... Вырастает как бы щелястый сруб. Почву и кровлю в лаве распирают костры, выложенные из толстых чурбаков длиной в метра полтора. Костер — крепь хорошая, надежная, может принять солидную нагрузку.

Митька ставил последнюю распору на приводе. Дядя Петя намотал на барабан «собаки» — ручной лебедки — канатик, подал «собаку» мне:

— Отнеси в конвейерный.

Только я выбрался на конвейерный штрек — метра каких-нибудь три — как сзади звонко, словно выстрелили мне в спину из пистолета, треснуло. Я машинально присел и втянул голову в плечи, будто надеялся, что хоть и обрушатся на меня сотни тонн породы, все равно голова моя останется целой и невредимой.

Митька, конечно, не преминул злорадно хохотнуть:

— Струхнул, инженерик! В штанах-то мокро, поди?

— Это ничего. Потолочина на свое место становится — растревожили мы ее немножко. Это нестрашно, — успокоил дядя Петя. — А вот иногда бывает...

Сараев не договорил. В это самое время случилось, наверное, то, что «иногда бывает». Вверху треснуло еще сильнее, потом еще. Кровля заколыхалась, затажки в нескольких местах проломилась, на конвейер посыпались куски породы.

— Митька, — в штрек! — дядя Петя сделал прыжок и оказался рядом со мной.

Бросив топор, Логачев тоже было ринулся к нам, но тут же попятился назад: перед ним с сухим скрипом и треском, прогнувшись коромыслом, переломился верхняк, кровля ощерилась остробокими, шевелящимися каменными плитами. Митька повернулся, чтобы бежать вверх по лаве, но и туда путь ему был уже отрезан точно так же переломившимся верхняком.

— Пр-ропадаю, падла! — Митька шарaxнулся к завалу — наткнулся на костер, метнулся в сторону груди забоя — там был привод.

— Пр-ропадаю! — кинулся назад к костру и скользнул в щель между его венцами.

— Верно, Митька! — одобрил дядя Петя.

А кровля колыхнулась и поплыла вниз. Стойки заскрежетали, чурбаки костра в местах соприкосновения плавно и вязко, будто глиняные, стали сплющиваться, истекая пенистой водой. На наших глазах в каких-то нескольких мгновениях костер превратился в настоящий сруб. И в этом срубе без лазейки, без выхода был Митька Логачев!

Кровля, словно она расходилась только для того, чтобы заманить Митьку в костер, наглухо запечатать его в нем, успокоилась. Ни уханья падающих глыб, ни щелчков, ни шороха сыплющейся породной мелочи. В наступившей тишине послышался истошный крик Митьки, глухой, будто бы донесшийся издалека, с другого горизонта:

— Пр-ро-па-а-ал!..

— Дядь Петь! — я вцепился в руку Сараева.

— Да, брат, — сказал Сараев. В голосе его я различил скорее удивление, чем ужас от сознания случившейся беды.

Митька кричал:

— Крышка мне, Сарай! Но ты это... Слышь?

— Ну?! — отозвался дядя Петя. — Тут мы, тут, Митька! — приказал мне: — Здесь будь, — и, оглядывая кровлю, осторожно стал пробираться к костру.

— Я тебе скажу, Сарай, но ты дай слово! — кричал Логачев.

— Говори, чего? — дядя Петя убирал с пути глыбы породы, обломки крепи.

— Дядь Петь, ты ж человек! Ты хороший! Как соседа прошу!.. Нет, ты, сука, дай мне сначала слово!..

— Говори, успокойся и говори, Митька. Я тут, возле.

— Деньги... Нет, ты, сволочь, слово дай сперва!

— Во, срамец,— тихо, со смешком сказал дядя Петя,— Сарай хороший и он же — сволочь... Ты, Митька, говори или замолкни, сиди тихо!

— Дядь Петь, скажи Вальке, что деньги на чердаке в синей тряпке. Под стропилой. Но попробуй, курва, тронь! Голову отверну!..

— Он мне голову отвернет,— Сараев вывернул из породной мелочи переломленный верхняк.

— Чтоб все до рубля!

— А я почему знаю, сколько там у тебя? Трояк или двадцатка.

— Пять тыщ двести! Ровно! При свидетеле говорю. Слышь, Володька?! Если, паскуды, тронете!..

— А если мы их поровну — и порядок?

— Убью!! Убью паскуд! Я копил! — Митька, должно быть, заметался, забесновался в костре в безысходном отчаянии и злобе, потому что в узкой, может, всего в толщину ладони, щели между чурбаками костра замелькал огонек Митькиного светильника.

— Чем убьешь-то? — Сараев был уже возле привода и что-то искал в породной мелочи.

— Рады, да?! Рады, оглоеды?! — и завыл: — Убью-у-у!..

— Погоди, Митька,— у дяди Пети был уже в руках топор,— я вот тебе оружие, чем убивать будешь, дам.

— Изгаляешься?! Рад?! Ну, скажи Вальке!..

— Сам скажешь. А сейчас замолкни! Надоел уже! — строго прикрикнул дядя Петя.— А то точно будут тебе кранты,— и, оглядев кровлю над собой, размахнулся и всадил топор в венец костра...

Совершенно невредимого, но бледного Митьку мы вытащили на конвейерный штрек, усадили на почву, но он свалился кулем на бок и судорожно зарыдал. От шока, от радости, что остался жив.

Пришли добытчики. Бригадир спросил:

— Что это с ним?

— Отойдет,— Сараев объяснил, что случилось.

— Может, врача вызвать?

— Отойдет,— сказал дядя Петя.— Грузить-то сегодня рано не начнете. Три круга целиком менять надо... Цепь конвейера осталась ненатянутой — не успели. Вы уж сделайте, а мы поведем его.

— Какой разговор,— согласился бригадир.

Митька перестал рыдать, поднял голову, осмотрел всех мутным угорелым взглядом, пробормотал что-то непонятное, подхватился и, спотыкаясь и покачиваясь, побежал по штреку...

Увидели мы Логачева в мойке. Он уже помылся, но помылся наспех: на лбу и висках чернела угольная пыль. Митька торопливо одевался в чистое. Подойдя к нему, дядя Петя сказал:

— Не суетись. Никто не побежит за твоими тыщами. А держать-то их надо бы все-таки на книжке. Неровен час, и в самом деле чего...

Митька окатил дядю Петю, потом меня презрительным взглядом:

— Скоты! Пошли вы к...— скомкал полотенце и, на ходу запихивая его в карман пиджака, направился к выходу.

— Это уж наше дело, куда идти. Верно? — дядя Петя подмигнул мне и засмеялся.

На следующий день Митька Логачев не явился на наряд. И вообще я его больше не видел. Правда, однажды, с полгода спустя, я шел на занятия в техникум и, проходя мимо продовольственного магазина, обратил внимание на возчика, сгружавшего с телеги ящики с пивом. Мне показалось, этот возчик был Митька Логачев. Как следует я его не разглядел — спешил. Дядя Петя Сараев к тому времени уже вышел на пенсию, так что уточнить было не у кого.

ОШИБКА



Не знаю, как кто, я же годы ученья в начальных классах помню совсем плохо, как расплывчатый полусон. Лишь отдельные картинки видятся отчетливо, ярко, будто костер в сумерках, и они уже не померкнут в моей памяти.

Этот случай именно из таких, немеркнувших. Произошел он в третьем классе. Занимались мы тогда в комнате, которая располагалась рядом с учительской. В этой же комнате размещалась школьная библиотека — справа от доски два приземистых, с застекленными дверцами книжных шкафа. Да, по тем временам это уже была библиотека. Книги в шкафах были толстые, пухлые и совсем тонюсенькие. Новые и уже изрядно потрепанные. Многие с яркими обложками и корешками. А поэтому во время урока всегда кто-нибудь вместо того, чтобы смотреть на доску и слушать, что говорит Мария Семеновна, глазел на книги. Учительница легонько по-

стукивала согнутым пальцем по доске, строжилась:

— Все внимание — сюда! Книги будете рассматривать на перемене...

И на уроке, и на перемене мое любопытство особенно возбуждали толстые книги. Наверное, во-первых, потому, что все они были красивые, многие с золотым тиснением, во-вторых, они выглядели какими-то устало-сонными и таинственными, а такие книги, думал я, не могут быть неинтересными. В-третьих, библиотекарь Клавдия Ивановна, низенькая аккуратенькая старушка в белом капоре, открыв после уроков шкафы, никак не хотела выдавать нам, третьеклассникам, толстые книги — «рано еще» — и выкладывала перед нами тоненькие, все больше из серии «Книга за книгой», а стоит ли говорить, что чем больше что-то запрещается, тем больше того хочется.

Так вот, значит, было это в третьем классе. В самой середине учебного года. Отпуская нас на зимние каникулы, Мария Семеновна дала задание:

— Всем выучить за каникулы по одному стихотворению. Какое кому понравится, то и выучите. В первый же день занятий будете рассказывать у доски. Все.

Наша Мария Семеновна очень хотела, чтобы мы знали как можно больше, чтобы знания наши были как можно глубже и чтобы мы узнавали что-нибудь всегда, постоянно, даже во время каникул.

Вообще-то каникулы, возражали мы про себя, уставлены не для выучивания стихотворений, а для того, чтобы вдоволь накататься на санках, лыжах и коньках...

Будто угадав это наше возражение, Мария Семеновна говорила, тоже как бы рассуждая про себя:

— Ведь не целыми же днями вы будете кататься. Немножко покатаетесь — немножко почитаете, поучите. И будет хорошо.

Наша Мария Семеновна была совсем молодой учительницей, доброй, но очень требовательной и строгой,

ослушаться ее никто не смел, даже завзятые разгильдяи и лоботрясы. И к первому дню занятий каждый из учеников нашел и выучил какое-нибудь стихотворение. Некоторые не стали особо утруждать себя поисками — выучили короткие стишки из «Родной речи», а другие напротив, рассказывали что-нибудь длинное и интересное, а кто хоть и длинное, но непонятное, скучное. Однако всем Мария Семеновна говорила что-нибудь похвальное, хотя вместе с тем делала и какие-нибудь замечания.

Настала моя очередь. Я вышел к доске, как сейчас помню, вдохнул полной грудью:

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! Где б нам отобедать?
Как бы нам про то проведать?
Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед,
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А козяйка ждет милого,
Не убитого, живого.

Заучивал я добросовестно, рассказал без единой запинки, и Мария Семеновна ничуть не погрешила против истины, сказав:

— Хорошо. Молодец. И спросила: — А кто написал это стихотворение?

Ничуть не медля, я ответил с такой же уверенностью, с какой ответил бы на вопрос «как тебя зовут?»:

— Александр Пушкин.

Мария Семеновна порассматривала меня и сказала:

— А ну-ка, подумай хорошо. Вспомни.

Зачем мне было вспоминать то, что я отлично помнил. Толстая, большого формата книга. На твердой серой обложке вытеснено золотыми буквами «Александр Пушкин», а ниже в круглой рамке-ободке — профиль поэта. Я взял эту книгу перед самыми каникулами в школьной библиотеке. Сначала я хотел взять тоже толстую, но зеленую книгу, на обложке которой было написано «И. В. Мичурин. Сочинения». Но Клавдия Ивановна засмеялась и отняла у меня эту книгу: «Рано, друг мой, рано». Тогда я взял другую, ничуть не тоньше: «Александр Пушкин». Клавдия Ивановна немножко поколебалась и сказала: «Ну, в этой для тебя есть кое-что». Придя домой, я уселся за стол и раскрыл книгу. В ней были помещены стихотворения, потом поэмы и в самом конце сказки. За дни каникул я с удовольствием прочитал все сказки, с меньшим удовольствием поэмы и уже без особого порыва принялся за стихотворения — большинства их я не понимал. Но некоторые нравились. Одно, без названия, понравилось больше других. Его-то я и выучил наизусть. Сегодня, в первый день занятий, я принес книгу в школу, чтобы сдать в библиотеку. Вот сейчас я стою у доски, а толстая серая книга, на обложке которой золотыми буквами написано имя поэта, лежит в парте под сумкой с учебниками. Так что мне совсем не нужно было думать и вспоминать, и я повторил:

— Александр Пушкин.

Мария Семеновна снова порассматривала меня:

— Ошибаешься. Это стихотворение написал Михаил Юрьевич Лермонтов.

(Будто сейчас слышу: Михаил Юрьевич Лермонтов).

Я ступевался и, наверное, покраснел, потому что Мария Семеновна сказала ободряюще:

— Ничего. Со всеми бывает. Но теперь ты будешь помнить: Лермонтов. Запомнишь? Вот и молодец.

Я сел на свое место. Дождлся, когда следующий уче-

ник вышел к доске и начал рассказывать стихотворение, тихонечко достал из парты толстую серую книгу, положил на колени и тщательно, по слогам, почти по одной буковке прочитал: «А-лек-сандр Пуш-кин». Потом открыл книгу на той странице, где была закладка, и тоже по слогам стал читать:

Ворон к ворону летит,...

Дошел до последней строки, закрыл книгу и снова прочитал на обложке: «Александр Пушкин». Нет! Ну не могу же я не верить собственным глазам...

Зачем я все это рассказываю?

Если вы решили, что затем, чтобы уличить учительницу в плохом знании русской литературы, и если у вас уже стало складываться мнение о Марии Семеновне как о человеке сомнительной эрудиции, то я прерву здесь рассказ — он еще не окончен — и решительно стану на защиту своей первой учительницы.

Иногда, совсем редко, я вижу с Марией Семеновной и сейчас. И могу сказать без обиняков: человек она многознающий, думающий. О таких говорят с восхищением: «Это ходячая энциклопедия!» или: «Не человек, а целый мир интересного!» Мне можно возразить:

— Это сегодня,— все мы совершенствуемся, духовно обогащаемся,— а тогда?

Разумеется, уровня ее тогдашних познаний мы, ее ученики, оценить не могли. Но в какой-то мере, думается, это можно сделать сегодня. Как? Могут же специалисты по нескольким косточкам ископаемого животного восстановить весь скелет. Точно так же и по отдельным деталям, штришкам можно судить о былой эрудированности человека. Вот вам несколько штришков...

Впрочем, сначала один штришок к характеристике другого человека. Кажется, в тот же год, к которому относится мое воспоминание, в нашей школе появился новый биолог. Не помню, как его звали, вообще не помню

ничего, кроме такого случая. Однажды биолог вышел на школьное крыльцо и произнес:

— Сегодня погода кака-то не така, как вчера.

Ученики прыснули.

Больше ничего не могу сказать о биологе: вскоре в школе его не стало. Куда делся, никто не знал. Спустя лет, может быть, пять я встретился с ним в тайге, на пасеке. Это был типичный пасечник, добродушный, хозяйственный, рачительный...

А теперь, значит, несколько других обещанных штришков.

Помнится, на вечере в сельском клубе Мария Семеновна наизусть читала всю поэму Пушкина «Цыганы», и ей бурно аплодировали. А однажды на классном часе она по памяти написала на доске имена всех президентов США — от Вашингтона до Трумена. Или Мария Семеновна рассказывала нам: один перуанский ученый (она называла его имя) в захоронении людей, насчитывающем две с половиной тысячи лет, обнаружил зерна злаковых культур. Зерна эти он посеял, они проросли, дали урожай, из которого ученый испек пирог и угостил друзей. Мария Семеновна учила нас на зимнем вечернем небе находить разные созвездия и рассказывала о них уйму интересного. И, наконец, нас восхищало, как она без циркуля, одним быстрым движением руки начерчивала мелом на доске окружность, как мы говорили, круглее круглой.

Нет, у меня не повернулся бы язык назвать Марию Семеновну человеком невежественным.

— Ну, а как же тогда толковать то, что стихотворение, принадлежащее Пушкину, Мария Семеновна присвоила Лермонтову.

А так и толковать, не мудрствуя лукаво. Может, по какой-нибудь ассоциации перепутала. С кем не бывает? Все мы люди, и от промахов, ошибок никто не застрахован, даже эрудиты. Так я рассуждаю сейчас.

А тогда?

Тогда, я уже говорил, я не мог не верить собственным глазам. Но еще больше я не мог не верить словам своей учительницы, авторитет которой был для меня выше авторитета родителей, друзей, старшего брата, председателя сельсовета и даже любимого писателя и... не знаю, кого еще... Учитель знает больше всех и лучше всех. Слово учителя для ученика — непреложный закон! Или, скажете, не так? И еще там, у доски, я без колебания уверовал, что стихотворение, которое я рассказал, написал Лермонтов. Но тогда как — терзался я вопросом — как оно попало в книгу «Александр Пушкин»?.. И я нашел ответ еще до того, как прозвенел звонок: опечатка. Я часто видел, как старшеклассники после решения задачи нетерпеливо сверяли полученный ответ с ответом, помещенным в конце учебника. Когда ответы не сходились, старшеклассники говорили с досадой: «Опять опечатка!» Вот я и решил, что в книге «Александр Пушкин» допущена грубая опечатка, в ней помещено стихотворение, которое написал Лермонтов, а не Пушкин. И люди, которые печатают книги, пали в моих глазах, а развенчавшая их Мария Семеновна поднялась еще выше.

На перемене Светка Кирсанова, проходя мимо меня, прошепелявила:

— Эх ты! Ешли не жнаешь, кто напишал, так и шкажи: не жнаю. Вешь клашш подводишь.

И мне стало совестно и перед Светкой и перед всем классом...

Спустя годы, когда я немножко научился смотреть на вещи критическим взглядом, я, конечно, дал должную оценку этому случаю. Но было уже поздно. И шут знает, что получилось...

Вчера я с дочерью и сынишкой рыбачил на небольшом озерке. Клева не было, и я скучно смотрел по сторонам. На березовом суку сидела ворона. За озером по-

слышалось карканье другой. Ворона встрепелулась, снялась с дерева и полетела туда, за озеро, на карканье. Провожая ее глазами, я продекламировал:

Ворон ворону кричит:
Ворон! Где б нам отобедать?
Как бы нам про то проведать?..

Сын спросил:

— Папа, это кто написал?

Я подумал:

«Пушкин... Нет, Лермонтов... Пушкин, однако... или все-таки...»

— Лермонтов, — ответил я неуверенно.

Дочь тут же решительно запротестовала:

— Какой опять Лермонтов?! Пу-у-уш-кин!

— Серьезно?

— Конечно! И когда ты только запомнишь?!

Теперь уж, видно, никогда. Так и буду не знать, вернее, путать. Досадно, конечно. Но такова удивительная, прямо-таки чародейская сила учительского слова. И вот я думаю: если мы по ошибке учителя не знаем твердо автора маленького стихотворения — досадно. Досадно, но не больше. Ничего трагического тут нет. А вот если не стихотворение? Если кто-то из нас не унес из школы ясности и твердости в чем-то другом, важном и главном, что определяет сущность человека, а значит, и его судьбу? Это уже куда хуже, опаснее, страшнее. Какую же громадную ответственность принимает на себя всякий, кто однажды вошел в класс и стал учителем, каждое слово которого, каждый жест, каждая улыбка, каждый вздох, каждый взгляд — не просто слово, не просто жест, не просто улыбка, не просто вздох, не просто взгляд. Учитель, по мнению учеников, существо высшее, могущее все, но не могущее ошибаться... Вот о чем я думаю...

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЗЕЛЕНЬИ ЛУЧ	5
СТРАСТЬ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА	49
ГОЛУБОЙ КОНЬ	69
ТРОШКОВЫ	86
БЕЛАЯ РУБАШКА	105
ВЕРНЫЙ	117
КОСТЕР	134
ОШИБКА	152

Владимир Федорович КУРОПАТОВ

ЗЕЛЕНЬИ ЛУЧ

Рассказы

Редактор Л. В. Глебова. Оформление
А. С. Ротовского. Технический редактор
Г. В. Адова. Корректор Г. В. Ильинская

Сдано в набор 21/VII 1978 г. Подписано к печати 10. I. 1979 г. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 7. Уч.-изд. л. 7,68. Формат 70×108¹/₃₂. Тираж 30 000 экз. СП 00002. Заказ 8840.
Цена 60 коп.

Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Типография издательства «Омская правда», Омск, пр. Маркса, 39.

60 коп.